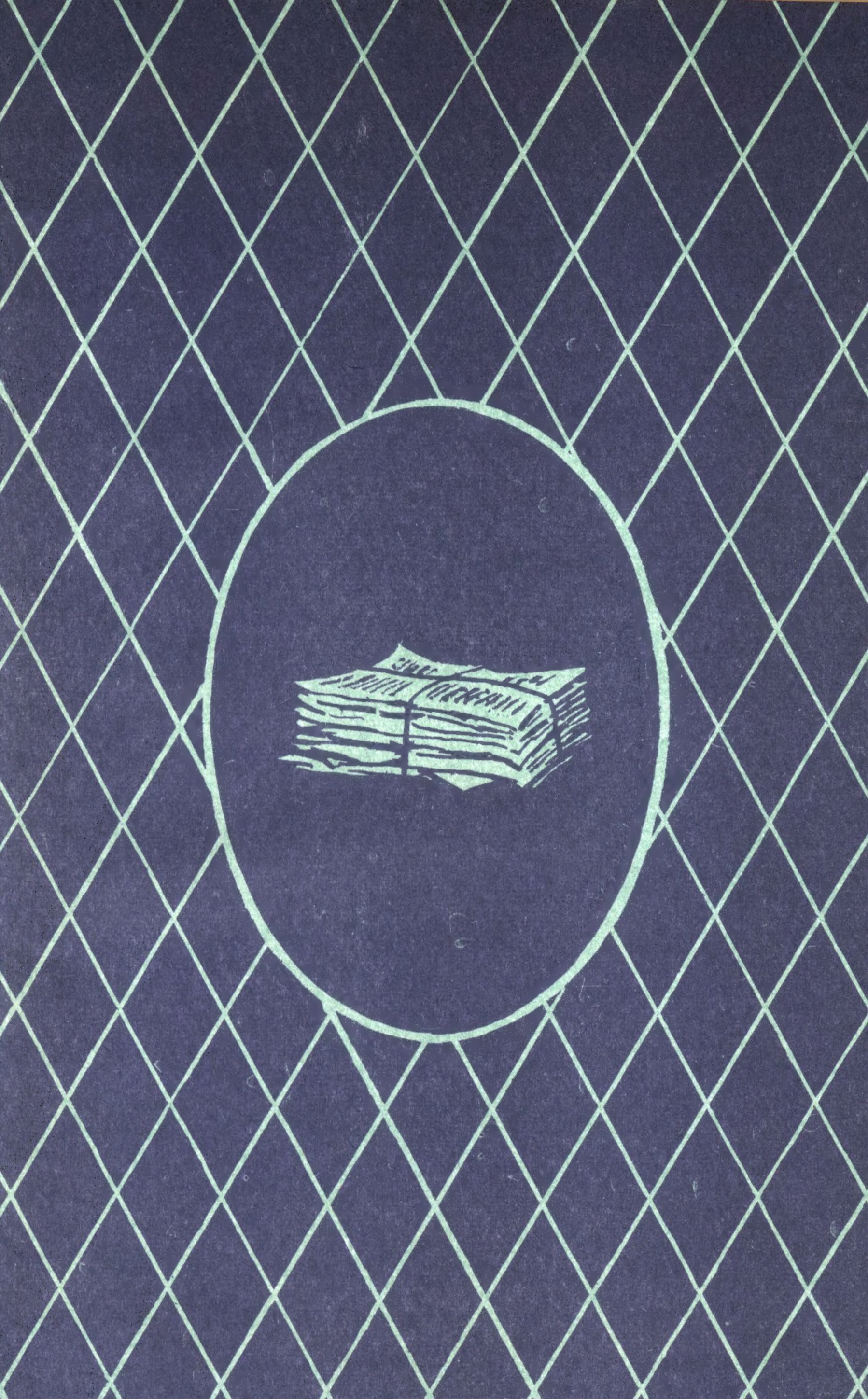
ВЕРА МОРОЗОВА

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»









ВЕРА МОРОЗОВА

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО

Рассказы

ХУДОЖНИК
В. БРАГИНСКИЙ

МОСКВА «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1980

Р2
М80

Морозова В. А.

М80 Вид на жительство: Рассказы/Рис. В. Брагинского.— М.: Дет. лит., 1980.— 224 с., ил.

В пер.: 55 к.

Документальные рассказы о героических буднях революционного большевистского подполья, о настоящих событиях и подлинных героях, память о которых хранят архивы и воспоминания тех, кому посчастливилось дожить до наших дней.

М $\frac{70803-422}{М101(03)80}$ 353—80 **Р2**

Героика и романтика революции положена в основу рассказов писательницы Веры Морозовой.

Удивительных и прекрасных людей встретит читатель на страницах этой книги. Это были люди одержимые и талантливые. Они не считали свою работу в подполье подвигом, они служили народу.

О многих из них не написаны книги и не всегда история сохранила их имена. И часто за скупой строкой воспоминаний участников событий, отдаленных от нас многими десятилетиями, мы находим рассказ о подвиге, а героя под партийной кличкой.

В основу рассказов Веры Морозовой положены подлинные события, о которых бесстрастно хранят память архивы. В этих рассказах и трагическое и смешное, исключительное и обыденное.

Каждодневная работа в подполье требовала хладнокровия и большого мужества. О тех, кто вершил революцию, эта книга.





ВСТРЕЧА С «ШИКАРНОЙ»

Это было давно. Шел 1903 год. Из-за беспорядков на железной дороге поезд опоздал на пять часов. На вокзале началась обычная суматоха, которая наступает при прибытии московского поезда. Метался по станции дежурный в фуражке с красным околышем, уныло оглядывал толпу жандарм с висячими усами, кричали артельщики, стараясь не затронуть тюками чистую публику, тащили сонных ребятишек и бесчисленные узлы бабы с испуганными лицами в цветастых платках, гудели маневровые паровозы, обдавая перрон облаками пара и шипящим свистом.

Тусклый свет зажженных с ночи фонарей сливался с предрассветными сумерками. Было холодно и промозгло.

Из вагона первого класса вышла хорошо одетая женщина. В руках она держала шляпную коробку. Она зевнула, легким движением перекрестила рот и зябко поежилась. Была она высокого роста, статная и красивая. Голубоватый с отливом костюм был оторочен беличьим мехом, узкая талия перехвачена широким ремнем, на русых волосах шляпка с широкими полями, украшенная дорогим пером.

— Вот и Саратов,— с легкой картавостью произнесла

она, обращаясь к своему спутнику, казачьему офицеру, не сводившему с нее восторженных глаз.— Конечно, кузина меня не встретила. Телеграмму, как всегда, не успели доставить. Вот и торчи на вокзале и ломай голову, как добраться до своих.

— Зинаида Дмитриевна, дорогая моя, я бы за честь почел, коли позволили бы проводить...— Офицер щелкнул шпорами и наклонил голову с ровным пробором. Фуражку он почтительно держал в руках.

— Нет, Алексис. Я рада продолжить наше приятное знакомство, но не такой ценой.

— Помилуйте, что за цена!

— Да немалая — вы опоздаете в полк, получите взыскание и возненавидите меня. Нет, нет, не уговаривайте. Поезда в Новочеркасск ходят через день, и я буду считать себя преступницей. Спасибо, что вы разделили мое одиночество в дороге...

— Генерал Тоидзе понял бы мой порыв...

— Нет, голубчик, и не просите, такую услугу черной неблагодарностью не омрачу.— И она покрутила пальчиком перед лицом расстроенного офицера.— Поезд стоит в этом благословенном Саратове полчаса? Вот и прекрасно.— И она сунула в руки офицера шляпную коробку и шагнула к жандарму.

Жандарм, грузно переваливаясь, направился к ним. Шашка била по ногам, и рука нехотя потянулась к фуражке. Всю ночь, пока опаздывал курьерский, он торчал в дежурке. Пробовал заснуть на диванчике, но было жестко, болели бока, да и уместиться на этом диванчике было невозможно. К тому же дежурил помощник начальника станции, желчный и злой. Он кричал на телеграфиста, который что-то напутал в длинных лентах, звонил на соседние станции, кричал на машиниста, который не на тот путь поставил товарный состав, распекал стрелочника, от которого, как ему казалось, пахло сивухой. Под утро он задремал, но первый помощник растолкал и его и потребовал, чтобы он пошел встречать этот тринадцатый курьерский из Москвы. Жандарм был мрачен, а тут эта дама с офицером...

— Служивый, помогите мне отыскать артельщика, только не жулика.— Дама рассматривала его большими серыми глазами, цвет которых сливался с беличьим мехом.— Меня, к сожалению, не встретили.

— Нонче всех не встретили,— с трудом удерживая зевоту, пробасил жандарм.— Курьерский-то запоздал.

— Как стоишь, болван! Да еще пускаешься в разговоры, когда тебя о деле спрашивают! — Казачий офицер резко оборвал жандарма.— Поди крикни артельщика, да поприличнее!

Дама с недоумением обернулась к офицеру. В огромных серых глазах осуждение. Офицер поцеловал даме ручку, затянутую в лайковую перчатку, и с трудом подавил досаду.

— С этим народом иначе невозможно, Зинаида Дмитриевна!

Жандарм вытянулся и лихо козырнул. «Офицер — он завсегда офицер и без крику с нашим братом не может обращаться, барыня — она завсегда барыня, вот и трехрублевую ассигнацию сунула. Артельщики — они и вправду жулики. Значит, для этого случая нужно кликнуть Петруху»,— закончил свои рассуждения жандарм и направился к пакгаузу.

«Красивая-то какая, бестия! — не без восхищения подумал он о барыне.— И добрая, ассигнацию сунула, как только на него начал кричать этот офицерик казачьего полка». В прошлое дежурство их собрал ротмистр. Говорил долго и, как всегда, непонятно, стараясь выказать свою образованность: ротмистр происходил из разорившихся дворян и любовью не пользовался. Службу свою нонешнюю он считал позором и лютовал, как никто до него, хотя жандарм, прослуживший двадцать лет и получивший медаль «За усердие», повидал на своем веку немало начальников. Так этот ротмистр пустил по рукам карточку важной государственной преступницы. Лицо у нее было такое же округлое, с большими задумчивыми глазами, с маленьким красивым ртом и соболиными вразлет бровями. Преступницу сфотографировали в ситцевой кофте, волосы забраны в тугой узел. Обличьем она походила на работницу или на бедную училку. Женщина как женщина, но ротмистр почему-то горячился: опасная преступница, политическая! Зачитал депешу, где было написано, что эта скромная девица прекрасно говорит по-французски, ездит в вагонах первого класса, и как на отличительную примету указывалось, что у нее большие серые глаза и красивая внешность. И еще одно предупреждение имелось в депеше: при аресте преступницы следует соблюдать величайшую

осторожность — так и было сказано — величайшую! — она великолепно стреляет! Многое пришлось ему повидать на своем веку, но чтоб поверить в такое?.. Девица с задумчивыми глазами стреляет при аресте, словно лесной разбойник. В столице для устрашения сочинят любую бумагу. И вот сегодня в мутноватых предрассветных сумерках он вспомнил фотографию той скромной девицы с большими серыми глазами. Он попытался сравнить эти лица, но это ему не удалось. Та была такая простенькая, а эта так уверена в себе. Да и глаза у этой веселые, лукавые. И опять же ассигнация! Зачем преступнице давать ему, жандарму, трехрублевую ассигнацию? Деньги немалые. И почему она, коли она преступница, первой подошла к нему? Эти преступники завсегда наперед знают, когда их разыскивают. Бог их знает, как они узнают такие секреты. И казачий офицер. Зачем ему, казачьему офицеру, сопровождать даму, коли она преступница, да еще кричать на жандарма? Это был последний довод. И все же каких только чудес не случается с этими политическими! Вот он сам как-то сопровождал политических в ссылку в Сибирь-матушку, еще когда был молодым. Именно таких раскрасавиц и возил в тюремных вагонах. Они были тихие, добрые, только в глазах светилась решимость, будто им была известна какая-то высшая правда. Иная всю дорогу кровью кашляет и по виду-то совсем махонькая. А как посмотрит иной раз, он, мужчина, радовался, что оружие при себе имеет.

Жандарм остановился у фонаря, снял фуражку, вытер голову платком и закурил. Закурил по старинке махорочку. Решил все обмозговать. Затянулся покрепче, покашлял от удовольствия. Может быть, следовало спросить документы? Так вежливо, с подходцем. Но, представив холодное презрение на ее лице и бешенство и без того раздраженного казачьего офицера, он покрутил бритым затылком. Нет, не просто, совсем не просто у богатых господ проверять документы. И то сказать, она к нему с добром, а он ее с позором в дежурку. А какие улики? Лицом смахивает, глаза вроде одинаковые. Да у женщин, поди, у всех глаза одинаковые. А если он упустит важную преступницу? Поди, узнают, что кликал к ней артельщика. И наградных сто рублей могут отвалить, коли не ошибется... Поди, придется вести даму к ротмистру, злющему, с закрученными усиками, со злыми глазами, с язвительными словами,

которые он всегда цедит сквозь зубы... Нет. Жандарм решительно раздавил окурок каблуком и пошел искать Петруху. Глядишь и на водку получит — барынька-то щедрая.

Петруху искать не пришлось — в плечах косая сажень, на завитом чубе едва удерживался картуз, холщовый фартук с медной бляхой плотно облегал крепкую фигуру. На широком лице ухмылочка, зубы блестят, ровные и мелкие, под тоненькой, будто приклеенной ниточкой усов.

Жандарм сделал знак, и Петруха сразу все понял. Играючи подхватил тележку и, козырнув не без ухарства, направился к вагону первого класса.

Дама все так же любезно разговаривала с офицером, поглядывая на станционные часы. Стоянка поезда задерживалась на неопределенное время, как почтительно поставил кондуктор в известность пассажиров первого класса.

Жандарм неторопливо направился к пассажирам, толпившимся у вагона первого класса. Рядом с дамой, столь заинтересовавшей его, стоял генерал из штатских. Он ругательски ругал служителей дороги, которые не могут победить смутьянов и бунтовщиков. Громко кашлял, недовольно отгонял дым от папиросы казачьего офицера.

Но в общем-то разговор шел мирный, и жандарм совершенно успокоился и даже порадовался, что не поставил себя в смешное положение. Говорили все по-русски, что еще больше укрепило жандарма в правильности принятого решения.

Дама опустила вуаль и теперь совершенно потеряла сходство с тем портретом, что так смущал жандарма.

Петруха нырнул в вагон и возвратился, словно Дед Мороз на рождественской елке, увешанный свертками, коробками и чемоданами. За Петрухой следовал проводник, который нес постель дамы, завернутую в зеленый плед. Красивая дама умела путешествовать с удобствами.

Офицер все еще держал в руках шляпную коробку, ее дама не доверила Петрухе. И генерал и офицер подсмеивались над количеством вещей у дамы. Она отшучивалась: Париж есть Париж, да к тому же всем нужны подарки!

Она кивнула жандарму, неторопливо последовала за Петрухой, нагруженным вещами. Офицер что-то горячо говорил ей, прижимал руку к сердцу, но она явно не

слушала его. Генерал размахивал форменной фуражкой и благодарил за столь приятное времяпрепровождение.

И опять жандарм удивился: до чего же господа любят вести долгие разговоры, коли рядом с ними женщина!

Подул резкий ветер, потянуло холодом с Волги. Ушел в вагон генерал из штатских, обругав еще раз жандарма, который якобы был виноват в задержке поезда. Вернулся усатый обер-кондуктор, который больше смахивал на генерала, чем сам генерал. И вид грозный, и осанка, и свисток на груди, и цепь сверкающая. Обер-кондуктор успокоил генерала, пообещав скорое отправление курьерского поезда.

Жандарм попрощался с обер-кондуктором и направился вдоль перрона к вагону, в который сажали новобранцев и откуда доносилась брань сопровождавшего их унтера.

Вокзал жил своей обычной жизнью.

ЛИТЕРАТУРА ОТ «БЕСОВ»

Мария Моисеевна Эссен прикатила на лихаче, когда ее уже перестала ждать Мария Петровна Голубева.

Заслышав частые и резкие звуки звонка — так звонить мог позволить себе только близкий человек,— Мария Петровна выслала кухарку в переднюю, а сама, едва сдерживая нетерпение, села в низкое кресло и взяла в руки вязанье. Вязанье было долгим и никому не нужным занятием. Пожалуй, Мария Петровна не могла бы ответить, что именно и с каких пор она принялась вязать. По ее словам, она вязала пуловер для мужа Василия Семеновича, который после длительного пребывания в Сибири, где он отбывал ссылку, страдал тяжелой болезнью легких и сердца. Она и познакомилась с ним в Сибири, когда приезжала проведать своего товарища и друга Заичневского, известного революционера и сопроцессника. Заичневского отправили в Сибирь в кандалах и в наручных браслетах, следы от кандалов у него сохранились на долгие годы. В этапе вместе с ним шел и студент Голубев. Они сдружились. Мария Петровна приехала для встречи с Заичневским, тяжело заболевшим в этапе, и познакомилась со студентом Голубевым. Долгими ночами под охра-

ной конвойного солдата они сидели у постели Заичневского и говорили о революции.

После ссылки Мария Петровна поселилась с Василием Семеновичем в Саратове, сняли квартиру в доме госпожи Сорокиной на углу Соборной и Малой Сергиевской улиц. Василий Семенович работал секретарем земской управы, много и хорошо писал в газетах. От революции он отошел, напуганный репрессиями и унижениями, которые ему пришлось пережить.

Квартиру эту выбирала Мария Петровна с непременным условием, чтобы квартира имела два выхода, большую кладовую и чулан для дров. Василий Семенович понимал, зачем такая квартира понадобилась его жене.

Мария Петровна была секретарем городского комитета РСДРП, на ее руках были явки, связи, транспортировка искровской литературы.

В доме поселилась тревога. Почти каждую ночь раздавался звонок, и кто-нибудь незнакомый вваливался с тюком литературы, грохал ее об пол и просил, валясь от усталости, чтобы приняли посылку от «бесов». От «бесов» — значит, из Женевы, значит, пришел транспорт искровской литературы. А раз появлялись такие визитеры, то появлялись и ночные визиты охранного отделения. Обыски, унизительные допросы следовали один за другим, и Василий Семенович потерял покой. В доме маленькие дети: Леля и Катя. Одной шесть лет, другой четыре, а Марии Петровне ни до него, такого больного, ни до девочек, которым так нужна мать, нет дела.

Звонок трещал, будоража весь дом. Василий Семенович слышал, как ворчала кухарка,— это она делала всякий раз, когда ее сонной поднимали ночью; как охала нянюшка, детская была рядом, и няня, молодая девушка из деревни, очень боялась таких звонков; как затихла Мария Петровна — наверняка уселась в кресло с вязаньем, она делала это всякий раз, сама успокаиваясь и озадачивая жандармов столь мирным времяпрепровождением.

Послышался стук открываемой двери, мужской окающий голос, женский с легкой картавостью, потом приглушенный смех и чьи-то грузные шаги. Наконец шум затих, и Василий Семенович услышал, как прошуршали шины по опавшему листу на мостовой.

В кабинет заглянула Мария Петровна в капоте и теп-

лой шали, держа в руках корзину с рукоделием. Она улыбнулась, подбадривая Василия Семеновича. Потом приоткрыла дверь в детскую, успокоила нянюшку и легким шагом кинулась встречать гостью.

Гостья бросилась обнимать оторопевшую Марию Петровну. Она никак не могла ожидать ее в роли транспортера. За Эссен велась ожесточенная слежка как за агентом «Искры» — это было хорошо известно.

Она ждала человека с транспортом, но Эссен, отчаянная голова, ввалилась в дом собственной персоной.

Мария Петровна никак не могла прийти в себя, а та, сбросив модную шляпку, которая запуталась в волосах, широко раскинула руки и принялась вальсировать по комнате, чем несказанно удивила кухарку.

— Добралась... добралась...— припевала она высоким сильным голосом.— Вот теперь отосплюсь славно...

Коробки и чемоданы, свертки и кулечки были сложены в угол. Вся она светилась радостью, губы ее дрожали в счастливой улыбке, большие серые глаза сияли.

«Видно, немало пришлось пережить, коли в себя не может прийти от радости»,— не без боли подумала Мария Петровна.

С Марией Моисеевной Эссен ее связывала давняя дружба. Эссен и в Орел к ней приезжала, где она отбывала ссылку под гласным надзором. Более того, Маша, акушерка по образованию, принимала у нее первые роды. Это был единственный случай, когда той удалось воспользоваться своей профессией. Храбрости Эссен была отчаянной, самые рискованные операции поручались ей — то шрифт отвезти для подпольной типографии, когда все дороги были перекрыты охранкой, то оружие доставить, то транспорт литературы переправить через границу. Партийная кличка ее была «Зверь». И из Сибири, она была там в ссылке, тоже сумела вырваться на волю.

— Откуда ты, Маша?—тихим голосом спросила Мария Петровна.— Я уж и след-то твой потеряла. Думала, что ты в Олекминске, в Якутии, после петербургского процесса.

— Ты с ума сошла! Как можно жить в Олекминске, коли он от железной дороги стоит на расстоянии двух тысяч с половиной верст! — Эссен так посмотрела на подругу, что та рассмеялась.

— Послушай, но как удалось бежать из Якутии, да еще зимой? Морозы до сорока, от селения до селения несчи-

танные версты, тайга. В это время даже каторжане из разбойников и те не бегут! Об этом мне в Сибири рассказывали на дневках уголовные.

— Обожди... обожди... Так считал и исправник в Олекминске. Куда, мол, бежать, когда кругом тайга да дикий зверь. Исправник до того был в этом уверен, что даже к ссыльным перестал наведываться на квартиры. Мне помог бежать Кудрин. Прикатил из соседнего поселения, узнав, что я задумала побег. У него был туберкулез, и он побаивался замерзнуть в дороге.

— А ты не боялась?

— Конечно, боялась, а что прикажешь делать? В Олекминске нас, ссыльных, было несколько человек. План я продумала до мелочей. В Якутск шла оказия, вот я и подготовила возницу. Не просто подговорила, а христом-богом упросила. «Замерзнешь да замерзнешь!» Такой упрямый сибиряк попался. «А как же ты не замерзнешь?» — «Я — другое дело. Привычный, во-первой, а главное — мужик!»

— И он был прав.

Мария Петровна приказала Марфуше приготовить комнату для гостьи и перенести туда вещи.

— Прав-то прав, только победителей не судят! — И большие серые глаза Эссен зажглись удальством.— К саням приделали ящик, который сибиряк попросту называл «гробом». В этот гроб меня и поместили, обрядив в толстенный тулуп. Тряска была чудовищная, а на ухабах гроб грозился отвалиться. У трактиров возница меня вынимал из гроба и вносил на руках. Я совершенно превращалась в ледышку и не могла пошевелить ни рукой, ни ногой — и такой ад продолжался две недели! Как я ни была подготовлена к такому переплету, а в душе себя проклинала много раз.

— Рискованная ты, Маша! Я бы, пожалуй, такого не выдержала,— вздохнула Мария Петровна, представив, что́ пришлось вынести подруге.

— И я бы еще раз не выдержала! — простодушно призналась Эссен.— Если представить себе заранее всю степень опасности, то действительно трудно выдержать, но зато теперь свобода!

Серые глаза ее засветились таким счастьем, что у Марии Петровны дрогнуло сердце. Да, подруга настрадалась в заточении, если такой дорогой ценой купила себе свободу.

— Но о самом смешном, что приключилось в Олекминске, я узнала в Женеве.— И Эссен залилась хохотом так, как умела делать только она: руками обхватила живот и принялась раскачиваться. Вся фигурка ее содрогалась от безудержного смеха. Временами она подносила руку к глазам и смахивала слезы.— Нет, это трудно даже передать.

— И что же? — Мария Петровна любовалась подругой.

— Исправник, как я уже говорила, был уверен, что тайга удержит любого от безумства. Он даже не навещал ссыльных. В день побега в моей комнатенке товарищи зажгли свет. И зажигали его каждый вечер целый месяц. Мое пальто и шляпку с вуалью напяливал на себя Кудрин. Он роста небольшого, хрупкий — ему мое пальто оказалось впору. Но Кудрин с бородой. Когда я с ним примеряла весь этот наряд, он отказался сбрить бороду. Шляпа — и борода... Ха-ха-ха...— И Эссен опять счастливо засмеялась.— Вот и порешили после долгих споров, что он будет на лицо опускать вуаль. Конечно, для Олекминска это все очень экстравагантно, но что прикажете делать? Так и ходили по улочкам на вечерних прогулках ссыльные и, едва завидев пристава, называли мое имя.

— Как это? — не сразу поняла Мария Петровна.

— Да очень просто: возьмут и назовут Кудрина Марией Моисеевной. Тут Кудрин и отвечает дискантом... Потеха...

— И долго так ходили?

— Долго, пока я с контрабандистами не перешла через границу. Ты только послушай. Как-то решил заглянуть пристав ко мне домой. Товарищи свет перестали зажигать, вот он и всполошился. Говорят, он даже заболел — ему за нерадение выговор начальство объявило.

Мария Петровна подумала: вот оно, настоящее мужество! Как все это просто у Эссен получается: вот бежала, проехала в гробу сотни верст, ледышкой вносили в трактиры на Сибирском тракте, ходил Кудрин в шляпке с вуалью, скрывая бороду, перешла с контрабандистами границу. И все это так естественно, весело. Но ей, прожившей жизнь в подполье, понятно, чего все это стоило.

— В Женеве я встретила Владимира Ильича, познакомилась с «Искрой». Прекрасный он человек, дела-то какие в партии творятся! Машенька, моя дорогая,— Эссен

порывисто встала,— я проехала с докладами о съезде партии по многим городам: Петербург, Москва, Киев, Ростов. К вам, поди, последним заглянула. Соберем комитет, я сделаю доклад о работе съезда и дальше покачу. Кстати, возьми багажные квитанции. Пришлось несколько мест сдать в багаж. Шпики одолели. Эдакие молодцы с квадратными лицами. Так и сопровождают меня из города в город. Сколько труда стоит от них избавиться, какой камуфляж изобретаю!

— Ну, а этот переезд как прошел?

— Да в общем-то обыкновенно, но мне повезло. В купе подсел кавказский человек, пылкий, страстный. Казачий офицер к тому же. Я ему уши прожужжала о Париже. Он принялся за мною волочиться и шпику, который попытался сунуться в купе, едва нос не прищемил. Я сказала, что этот тип меня преследует, мол, от самого Петербурга. Ха-ха... Охранка-то просчиталась, на этот раз шпиком послали вполне приличного на вид человека. Офицер меня здесь, на вокзале, провожал и на лихача сажал. Шпик ретировался. А в соседнем купе ехал генерал из штатских — общество самое прекрасное, говорил все время по-французски, вагон первого класса...

— В общем, победа...— с удовольствием констатировала Мария Петровна, разглядывая синие железнодорожные квитанции.— Ты, дорогая, отдохни с дороги, Марфуша, моя кухарка, вещи получит вместе с дворником. Я сама тоже стала весьма заметна. Меня тут младшая дочь потрясла. «Смотри, твой спик стоит»,— говорит она мне третьего дня на прогулке. И действительно, такой худенький, подслеповатый, только что со мною не раскланивается.

— Ну и как ты? — серьезно спросила Мария Моисеевна.— Чем это может кончиться?

— Кто знает! Думаю, как всегда — арестом,— просто ответила Мария Петровна, и глаза ее потускнели, и вся она стала словно и старше и болезненнее.— Я-то ничего, но с Василием Семеновичем беда — он нервничает сильно. Все ему аресты да обыски мерещутся, а девочки мои молодцы... И вообще дела у нас прекрасные. Одна мастерская пряток чего стоит!

— Мастерская пряток? Никогда такого не встречала.

— И не встретишь — это я потом тебе расскажу. Ты мне скажи главное: как Владимир Ильич? Привезла ли

новые номера «Искры»? Рабочие так ее ждут. Да и либералы интересуются. У нас тут есть богач граф Нессельроде, так он по двести рублей за прочтение каждого номера платит. А деньги так нужны партии. Пока мы не придумали мастерскую пряток, так номера «Искры» хранили в библиотеке Нессельроде. Библиотекаршей там работала Шустова, из сочувствующих, она и добилась разрешения на посещение библиотеки для меня.— Мария Петровна с гордостью посмотрела на Эссен.— В городе шли волной аресты, и этому хранилищу я обрадовалась.

— Здорово...— улыбнулась Эссен, она всегда радовалась успеху товарищей, и более того, все, что делала она, ей казалось обыкновенным и будничным, а вот действия друзей всегда восхищали ее.

— Ты спи, спи, Маша,— в который раз принималась уговаривать подругу Мария Петровна.

— «Спи, спи, Маша!» — ласково передразнила ее Эссен.— А сама такие вопросы задаешь, что и не ответить невозможно. Разве у меня нет сердца? Дела в партии горячие, ночи не хватит, чтобы о них рассказать. И все же я лягу — давненько в безопасности не спала, все одним глазом бодрствую. Так, знаешь, по очереди — то одним, то другим.— И Эссен рассмеялась от счастья.

— Ты все такая же хохотушка! Думаю, что эта комната будет тебе удобной: и от прислуги далеко, и от Василия Семеновича, и тихая, и светлая.

Эссен ловко перекладывала коробки и свертки, которые, наконец, закончила перетаскивать Марфуша. Мария Моисеевна очень понравилась Марфуше. Марфуша хотя и помогала во всем Марии Петровне и любила до самозабвения девочек, Лелю и Катю,— они и выросли-то у нее на руках,— но всегда в душе беспокоилась о хозяйке. Одни обыски извели, да и ночные визитеры до хорошего не доведут. А если посадят в тюрьму Марию Петровну,то весь дом рухнет.

Марфуша была своим человеком в доме и была свидетелем частых ссор супругов Голубевых. Муж требовал, чтобы жена прекратила сомнительные, как их называл Василий Семенович, знакомства и хождения с литературой по городу, и переодевания, и ночные отлучки. Много горьких слов он говорил жене и упрашивал Марию Петровну, чтобы она отошла «от дел». Мария Петровна в таких ссорах больше отмалчивалась, иногда что-нибудь возражала,

но так, что и Василий Семенович и Марфуша понимали, что ничего она не изменит.

Эссен, шикарная барыня, Марфушу порадовала — ясное дело, такая барыня ничем недозволенным заниматься не будет. Только Василий Семенович не выказал радости, увидев гостью. Более того, закрылся в своем кабинете, даже к чаю не вышел.

Марфуша принесла большой таз с горячей водой и по просьбе Марии Петровны поставила его на столик. Скрестила руки под фартуком, удивляясь, почему гостья не хочет мыться в ванной. И застыла у косяка двери. Гостья мыться не собиралась. Она раскрыла чемодан и стала вытаскивать картины, наклеенные на картоне. И Мария Петровна, и гостья громко ахали, называли какие-то чудны́е имена художников и хитро переглядывались.

— Марфуша, вам пора кормить девочек,— услышала Марфуша тихий голос Марии Петровны. Услышала и удивилась — обычно ей таких замечаний хозяйка не делала.

Марфуша поджала губы и вышла из комнаты, громко хлопнув дверью.

Мария Петровна недовольно нахмурилась. Эссен словно ничего не заметила, лишь в серых глазах полыхнуло лукавство.

— Репродукция Рубенса, прекрасная репродукция, «Похищение Европы». Я всегда любовалась этой картиной в Лувре, и какова была моя радость, когда увидела ее за двадцать франков на Монмартре.— Она поднесла репродукцию к близоруким глазам и откровенно ей любовалась. Потом быстро положила ее в таз с теплой водой и, наслаждаясь растерянностью Марии Петровны, принялась ее разглаживать. Краски стали ярче и очертания фигур отчетливее.

— Зачем же так? — не вытерпела Мария Петровна, хотя и привыкла в подполье ничему не удивляться.— Испортишь такую красоту.

Эссен все с тем же лукавством смотрела, как репродукция разбухала, потом осторожными и точными движениями сняла ее с паспарту́, подняла вверх и, дождавшись, пока вода стечет, передала Марии Петровне. Та приняла ее недоверчиво и положила на полотенце, которое предусмотрительная гостья расстелила на столе. А еще через минуту она принимала и старательно раскладывала для просушки листы газеты «Искра».

— Славно-то как... Славно...— шептала ошеломленная Мария Петровна.— Значит, таким образом и перевозила транспорт через границу. Как все меняется, а я переносила нелегальщину в юбке колоколом. Они в то время вошли в моду. Бывало, разложишь такую юбку на столе, накроешь ее нелегальной литературой и как начнешь простегивать, словно ватное одеяло, так все руки иголкой исколешь. Потом на стежку натянешь подкладку и аккуратно пришьешь. Получается юбка на подкладке, такая массивная, торчащая. Вот и плывешь по улицам в юбке колоколом. Да, чего только не было в подполье! А это чудо: картина — и из нее двадцать номеров «Искры».

— Это действительно чудо и безопаснее, чем чемодан с двойным дном. Кстати, таможенники создали так называемые летучие отряды из представителей столичной охранки. Эти отряды встречают поезда из Германии и Австрии на станции Граница и подвергают пассажиров досмотру. Тайна чемоданов с двойным дном давно раскрыта. Опытные досмотрщики простукивают крышку и при первом же подозрении разрезают дно чемодана.

Эссен помрачнела, припомнив, как волновалась она при досмотре на пограничной станции. Чемодана с двойным дном у нее не было, но, видя, как стараются с простукиванием таможенники, боялась за свои картины и гравюры, ибо и они могли вызвать подозрение.

— Незадолго до отъезда провалился транспорт с искровской литературой, его везла из Мюнхена в Россию Людмила Николаевна Сталь. Начался досмотр на станции Граница — на беду, вместе с ней в купе ехал какой-то надворный советник с баденских вод и имел при себе точно такой же чемодан... Чемоданы оказались купленными у одной фирмы. Все было продумано до мелочей. Но вот господин случай! Людмила Николаевна — дочь крупного фабриканта, образование получила в Париже, говорит по-французски, вагон первого класса, куда шпики из трехрублевых не сунутся. Кажется, все предусмотрели товарищи. Ан нет, таможенники поставили на весы сначала один чемодан, а за ним другой. Чемоданы одинаковые, а вес разный. Приказали выбросить вещи, и снова пустые чемоданы различались по весу. Вскрыли ложное дно, и на стол посыпались последние номера «Искры».

— Беда-то какая! — огорчилась Мария Петровна, помогая подруге раскладывать для просушки номера газеты,

которые та, словно факир, вытаскивала из таза с водой.

— Мне об этом знакомый студент рассказывал. Он стоял около столов с вещами, ожидая досмотра своего чемодана. Словно коршуны, слетелись жандармы на такую поживу. Людмила Николаевна держалась великолепно, отшучивалась до последней минуты. Правда, поначалу ее защищал надворный советник, сосед по купе, но он же первым и отвернулся от нее.— Эссен стряхнула воду с рук и, обтерев их полотенцем, взяла из портсигара папироску.— Кстати, там прихватили настоящего контрабандиста с фильдекосовыми чулками, причем этот тип на заметке у таможенников. Но его по-отечески пожурили, а ее — в тюрьму, как государственную преступницу!

— И что ее ожидает? — спросила Мария Петровна, в душе надеясь на чудо, но, помолчав, заключила: — Конечно, Сибирь, да еще долгое разбирательство.

— Людмилу Николаевну этапом погнали в первопрестольную матушку-Москву. Погнали пешком, с узелком личных вещей. Есть ли большее унижение, чем тащиться под проливным дождем или колючим снегом по российским дорогам, а по бокам на сытых лошадях восседают жандармы.— Эссен сделала поглубже затяжку и закашлялась. Кровь прихлынула к лицу, покраснела шея, и руки стали мелко вздрагивать.— Как много на Руси средневекового варварства! Ну как можно в наш цивилизованный век таким образом обращаться с человеком, так унижать его достоинство!

— Значит, чемоданы с двойным дном себя не оправдали? Тут ко мне ночью ввалился один верзила и грохнул об пол чемодан с двойным дном, прокричав на весь Саратов, что литература, мол, от «бесов». Я его ругательски ругала — не умеешь, так не берись. Такой дурень многое может натворить, пришлось всю сеть будоражить, менять все пароли, явки.— Мария Петровна, привыкшая к строжайшей конспирации до такой степени была возмущена неумным транспортером, что даже сегодня, рассказывая, не могла скрыть волнения. Ее обычно невозмутимое лицо сделалось сердитым.— Я всегда говорю, что к транспортировке литературы должны быть допущены только самые проверенные люди.

— Конечно, ты права... Я тоже об этом говорила Владимиру Ильичу — только подумать, какая большая цепоч-

ка ведет от границы до рабочего, который читает «Искру»! Нужно отпечатать газету то в Лейпциге, то в Мюнхене, то в Лондоне, то в Женеве. Потом целая сеть агентов со всяческими ухищрениями перевозит эту газету через границу —то в шляпных коробках, то в жилетах, то в чемоданах с двойным дном, то при помощи чудо-клея... Каждый рискует свободой, родными, друзьями и получает в случае провала не только длительное тюремное заключение, иногда каторгу, ссылку в Сибирь.— Эссен говорила с болью. Безусловно, ей, неоднократно переходившей границу, более, чем кому другому, было это известно.

— Мы так долго, Маша, не виделись... Да и вообще приезд нового человека в сонный Саратов такая радость, что перескакиваем с предмета на предмет, как институтки. И наговориться не можем. А что ты о клее?

— О клее? Идею его придумала Надежда Константиновна. Она всю сеть агентов знает, явки и пароли придумывает, транспортировкой ведает. Тут пошла большая партия литературы через Черное море в Одессу. Сделали такие непромокаемые мешки и через испытанных товарищей пустили, а те, конечно, услугами контрабандистов пользовались. И неудача. Контрабандисты — народ ненадежный: то литературу выбросят, то всякие небылицы придумают, как у них якобы отняли транспорт. Рисковать-то не хотят. Они транспорт в копне закопают либо в болоте утопят. Конечно, их тоже можно понять — за контрабанду обычную они взятками отделываются, а за литературу — Сибирью. «Честный цыган с вашими книжками дела иметь не будет»,— говорил мне как-то цыган. Он переводил меня через границу. «Честный цыган боится Сибири!» Вот и решили транспортом не рисковать, пока надежной оказии не представится. Надежда Константиновна упросила немецкого ученого придумать клей, который бы не портил издания и легко отходил бы в воде. Транспорт стал компактным и для таможенников практически неуловимым. Вряд ли таможенники догадаются наши репродукции и картины, которые, кстати, любят привозить из-за границы интеллигенты, опускать в тазы с горячей водой. Пока эта блестящая идея себя полностью оправдывает. Но и она когда-нибудь изживет себя, тогда придумаем что-нибудь другое.

В прихожей послышалось осторожное покашливание. Мария Петровна посмотрела на часы. Вот так поговорили! Уже десять. Значит, Василий Семенович собирается в гу-

бернскую управу. Она выразительно посмотрела на подругу.

Та быстрым и ловким движением, которым Мария Петровна всегда любовалась, достала шаль и прикрыла листы «Искры», разложенные для просушки. Зевнула, провела руками по лицу, отгоняя усталость, и подтолкнула Марию Петровну к двери.

— Иди проводи мужа... Я все-таки чертовски устала... Спать...

«БОГАТЫРСКАЯ СИМФОНИЯ»

Заседание городского комитета РСДРП проходило бурно. Эссен, собранная и сильная, напоминала человека, приготовившегося к прыжку. Она сделала обстоятельный доклад о работе второго съезда партии и долго спорила с меньшевиками, которые своими придирками пытались свести на нет значение съезда. Их не устраивала ни дисциплина, ни трудности подполья, ни будничная кропотливая работа. Эссен с блеском и остроумием парировала их наскоки.

Заседание закончилось победой — саратовская организация приняла ленинскую резолюцию съезда.

Очень усталые, подруги возвращались домой. Мария Петровна решила устроить музыкальный вечер. Эссен прекрасно пела. Мария Петровна частенько заставала ее у пианино. Сидела за пианино и, закрыв глаза, пела пушкинское: «Я вас любил: любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем...» А у двери застыла Марфуша с заплаканным лицом, и нянька терла кулаком глаза, даже Леля и Катя с серьезными лицами слушали гостью.

Завтра утром Эссен должна была уехать из города. Багаж был сложен и заблаговременно доставлен Марфушей на станцию. Мария Петровна решила пригласить в гости знакомого адвоката, игравшего на скрипке, и его жену, которая могла бы составить партию в дуэте. Эссен радовалась возможности такого музыкального вечера. Говорила о вечерах у Владимира Ильича, который охотно с ней исполнял дуэты.

Дул резкий ветер с Волги, сыпал крупный дождь, и ноги увязали в грязи. Мария Петровна походила на кухарку из богатого дома — в поношенном пальто, в серой шляпке,

надвинутой на глаза. Эссен тоже смахивала на фабричную работницу. В легкой плюшевой жакетке, в сборчатой юбке и полусапожках. На голове цветастый платок, в руках корзинка с овощами, благо возвращались с места, близкого к новому базару.

И вдруг Эссен замерла у тумбы с афишами. Афиши цирка шапито. Танцовщица, идущая по проволоке с зонтиком, медведь с дудочкой, человек с могучими бицепсами, гнущий подковы с самодовольной ухмылочкой. Слон в яркой попоне, обезьяны в коротеньких платьицах. Афиша приглашала обывателей на представление, которое должно состояться в воскресенье.

Но не эта афиша привлекла внимание Эссен, хотя она вспомнила Швейцарию и медвежьи рвы, где она вместе с детворой кормила морковью смешных и неповоротливых медвежат. Нет, ее заинтересовала другая скромная афиша. В музыкальном училище Экслера московский гастролер давал концерт русской классической музыки. Чайковский, Глазунов, Бородин... У Эссен глаза загорелись — музыку она любила страстно, но жизнь ее была столь многотрудна, что посещать камерные концерты и слушать прославленных музыкантов ей удавалось не часто. Помолчав немного, она сказала:

— Не плохо было бы посетить этот концерт.

— И повстречать ненароком молодцев, которые сопровождали тебя в поездке,— ворчливо отозвалась Мария Петровна, удивленная легкомыслием подруги.— Нет, и думать об этом нечего! К чему искушать судьбу!

— Не горячись, главное — не горячись! Во-первых, действие происходит в Саратове, а не в Петербурге. Во-вторых, я уже здесь неделю, и причин для волнения не вижу.

— Полноте, стыдись своей глупости...

— Но это Чайковский и Бородин! Мне так и не довелось прослушать в хорошем исполнении его «Богатырскую симфонию».— Эссен умоляюще смотрела на Марию Петровну.— За эту неделю я отдохнула и отоспалась... Ну будь другом, пойдем на концерт. Опасности реальной нет, у страха глаза велики. Да и когда мне еще такое предоставится!..

Марии Петровне сделалось неловко — действительно, она живет со своей семьей, здесь и муж и дети, а подруга кочует по стране, как перекати-поле, в вечной схватке с

охранкой. И действительно, когда еще в условиях подполья ей доведется послушать серьезную музыку. Ну, а если Эссен, агента «Искры», схватят у нее на глазах в музыкальном училище?

— Ну, Маша, давай рискнем?

Мария Петровна готовилась ей отказать, но, ругая себя за слабохарактерность, неожиданно согласилась.

— Только за билетами отправим Василия Семеновича и при первой же опасности уходим!— Она подумала и серьезно сказала:— При первой же опасности, а то я тебя знаю!

Эссен закатила глаза, и они полыхнули такой доверчивостью и наивностью, что обе рассмеялись.

Мимо проехал возница. Лошадь уныло качала головой и с трудом тянула повозку. Возница, худенький и маленький, кричал, размахивая кнутом, понукая лошадь. Потом сам соскочил с телеги и принялся ей помогать. Дрова грозились рассыпаться, комья грязи залепили афишу, у которой они так недавно стояли.

— Ну и грязища в вашем благословенном Саратове! — не утерпела Эссен, смахивая комья грязи с рукава жакета.

— Грязи много, а летом пыль-то какая. Отцы города языком болтают, а реально благоустройством не занимаются. Все по старинке живем. А сколько ночлежных домов да босяков на волжских пристанях? В нашей газете «Саратовский дневник» поэты даже по этому поводу упражняются:

Уж если грязь, то грязь такая,
Что люди вязнут с головой,
Но, мать-природу обожая,
Знать не хотят о мостовой!

Эссен засмеялась, отчего лицо ее стало еще привлекательнее. Да и Мария Петровна повеселела.

Они шли тихой улочкой, заваленной черемухой и бузиной. Дождь неожиданно кончился. Стоял конец сентября, и воздух был наполнен сладким и пахучим ароматом черемухи, тем ароматом, который наступает после дождя, когда кусты еще хранят на листве гремучие капли, когда поднимается легкая испарина от черных и набухших стволов. Загудели пчелы над искривленной бузиной. Какая-то баба в цветастой кофте принялась перекапывать грядку.

Солнце пробило толщу облаков, стало тепло. Они опу-

стились на вросшую в землю скамеечку и сняли платки. Вьющиеся волосы Эссен отливали золотом. Она расстегнула жакетку и принялась носком ботинка выписывать круги.

Мария Петровна мягко улыбнулась — вот она, гроза охранки по кличке «Зверь», и с каким радостным упоением предается отдыху. Трудно, трудно-то как... Столько лет в подполье, столько лет на нелегальном положении... Ее всегда удивляла непосредственность Эссен. Если трудится, то с предельным напряжением. Когда-то в Орле они вместе работали в подпольной типографии. Типография была в подвале. Свет едва проникал сквозь заплетенное решетками и паутиной оконце, работали по двенадцать часов. И Эссен не выказывала усталости, как не теряла спокойствия духа. Она крутила рукоятку машины — приспособление было самым примитивным, принимала оттиски и раскладывала их по стопкам. Тускло коптила керосиновая лампа, тошнотворно пахло керосином. Мария Петровна до сих пор не могла переносить запах керосина. Спину ломило от усталости, но Эссен подбадривала ее шутками и добрым словом. И только когда выносили из типографии последние листовки, Эссен бросалась на разостланное на полу пальто и засыпала. И веки ее нервно подергивались во сне.

Вот и сейчас она подставила солнцу лицо, грудь и прикрыла глаза, предаваясь истоме и сладостному покою. И блаженствовала, словно и не жила на нелегальном положении, и не было ни битв с меньшевиками, ни шпиков, которые ее провожали из города в город. Очевидно, это и называлось настоящим мужеством — ни позы, ни фальши, работать до предельного напряжения и отдыхать с радостью и непосредственностью. Да, Эссен это умела.

— Мы тут стали печатать открытки,— нарушила молчание Мария Петровна.— Публика их покупает с удовольствием. Для партийных нужд требуются деньги. Тут, конечно, одними сборами на вечеринках да журфиксами не отделаешься.— Она покопалась в корзинке и извлекла пачку открыток.— Главное не в рисунке, а в подписи. Вот, к примеру, «Толпой больше одного не собираться!».

Эссен засмеялась и придвинулась к подруге.

— Славно, «Толпой больше одного не собираться!»,— повторила она и окончательно проснулась.

Она держала пачку открыток, отпечатанных на глянцевой бумаге. Тонкий и толстый. В коротких модных паль-

то. Шляпы надвинуты на глаза. Под мышками зонтики с закрученными ручками. Тонкий приготовился дать прикурить толстому. А тут городовой — с большущими усами, с огромной шашкой, с животом, на котором едва сходится ремень. И маузер, и свирепое лицо, и этот окрик: «Толпой больше одного не собираться! Разойдись! Стрелять буду!»

Вечером Эссен наряжалась с тем особым чувством удовольствия, с которым она делала все. Села перед зеркалом и принялась за прическу. Глаза ее горели восторгом. Она отбросила шитое парижское платье, которым боялась привлечь внимание в провинциальном Саратове. Платье годилось для дороги, вагона первого класса, где будет отсиживаться от шпиков. Она слыла отчаянной франтихой, но одевалась по обстоятельствам, строго придерживаясь ею самой установленных правил. Конспирация стала ее второй натурой.

Мария Петровна была равнодушна к своим нарядам. Как-то через одного очень доверенного и строго законспирированного человека узнала, что в охранном отделении она имеет кличку «Гусыня». Она рассмеялась. «Гусыня»! А впрочем, и правда гусыня — ростом невелика, полная, ходит неторопливо и очень любит тепло одеваться. На дворе еще лист не опал, а она уже вырядилась в салоп. И ходит в нем всю зиму, с трудом снимая поздней весной, когда уже деревья покрываются листвой. Снимает с сожалением. Салоп-то особенный — к подкладке пришиты потайные карманы из сурового полотна. Сделано все добротно и тщательно, как все, к чему прикасаются ее руки. В этих карманах она переносила нелегальную литературу к Канатчикову, хозяину мастерской пряток. Тот пускал их по заводам и фабрикам. Типографии проваливались. Она усилила строгости, прекратила всякие связи с посторонними. Люди там работают на положении невидимок. Подыскала тихий дом на окраине Саратова. Подобрала двух рабочих из земской газеты. Парни молчаливые, наборщики классные. Условия обычные — три выходных в два месяца для хождения в баню. Работали ночами, ночами же и дышали у форточки, предварительно погасив свет, чтобы не вызывать подозрения соседей. Жили на тайной половине дома, которая отгорожена от основной дверью, завешенной ковром. И ни один человек не должен был не только видеть наборщиков, но даже догадываться, что они существовали на этой второй, главной, но совершенно тайной половине дома.

Мария Петровна сама доставляла бумагу в типографию. Сколько требовалось здесь хитрости! То подводу с дровами подгонял Канатчиков, а под дровами в мешках, измазанных углем, бумага! То мелкими партиями сама бумагу приносила в этот дом. То, прогуливаясь, приходила с детской коляской — на дне в коляске бумага, а вместо ребенка — кукла!

Бывало, привезет она бумагу наборщикам и начнет последние новости из жизни городского комитета РСДРП рассказывать, те слушают жадно, а у нее сердце болит, как они плохо выглядят: и глаза красные, и болезненно щурятся на дневной свет, и осунулись, словно после тяжелой болезни. Конечно, работа изнурительная — без воздуха, без человеческого общения.

Вот проработают парни полгода, и сменит их Мария Петровна, подберет за это время других надежных, а этих отправит в деревню на молоко да на сеновал. Парни об этом ей часто говорят и мечтают, как о самом большом благе.

Из типографии литературу выносила сама. В потайные карманы салопа до пуда литературы рассовывала. Конечно, с такой ношей иначе, как гусыней, по городу и не пройдешь. Тяжело, а идти нужно непринужденно. Шла медленно, не торопясь. Конечно, можно было бы и меньшими партиями выносить литературу, но опасно. Если будет часто в этот дом приходить, то подозрение может навлечь. Опыт ее работы в подполье — школу она прошла суровую — говорил о том, что так или иначе, но все тайное становится явным. Значит, еще и еще раз осторожность и осторожность...

Мария Петровна критически оглядела себя в зеркало. Платье тяжелого шелка, кружевное жабо. Василий Семенович, как секретарь земской управы, занимал солидное положение в обществе и в парадных выходах было бы неконспиративно его нарушать небрежным туалетом Вздохнув, натянула нитяные перчатки.

Эссен всплеснула руками. Такой франтихой она не видала Марию Петровну.

Из детской вышел Василий Семенович, сутулый, с толстыми стеклами в очках. Он страдал близорукостью. Поправив очки и покашливая, пожелал им счастливого пути. Глаза его выражали тоску. Так бывало всякий раз, когда по его мнению, Мария Петровна подвергалась опасности.

Эти тоскующие глаза всегда сердили Марию Петровну, как ни пыталась она его понять и оправдать.

В залах музыкального училища Экслера собрался весь цвет города. Дамы в шуршащих платьях, мужчины во фраках. Отдельно стояли студенты. Около них барышни. Сияли люстры, отражаясь в натертом до блеска полу. Слышался приглушенный гул, предшествующий началу театрального представления.

Эссен попала в ту торжественную и прекрасную обстановку театра, которую любила. Эта праздничность, ожидание встречи с прекрасным всегда молодили ее и настраивали на торжественный лад.

С непосредственностью, которая так умиляла Марию Петровну, она проскочила в буфетную комнату. «Конечно, за мороженым,— с улыбкой подумала Мария Петровна.— Лакомка-то какая».

Эссен взглянула своими прекрасными глазами, и впереди стоящий офицер подал ей вазочку с мороженым. Она, смеясь, что-то ему сказала, Мария Петровна тоже получила свою порцию. Она плохо вслушивалась в то, как лениво кокетничала подруга с этим офицером, видела только каким радостным восторгом сияли ее глаза. Марию Петровну не покидало чувство опасности. Она ругала себя за то, что уступила Эссен: этот праздничный свет люстр будто нарочно подчеркивал красоту подруги, взоры были прикованы к ней.

Но вскоре праздничная атмосфера повлияла и на Марию Петровну. Она понемногу стала успокаиваться. Ее уже не раздражали люстры, блеск толпы и звон шпор. Театр увлек и ее. Да и не часто она себе доставляла такое удовольствие.

Прозвенел звонок, и они направились в зал. Казалось, Эссен ничего не замечала. Все ее существо было захвачено музыкой. Когда послышались громкие и решительные аккорды, когда гневные порывы сменились тихими и вкрадчивыми, которые взрывались громом набата, Мария Петровна заметила слезы на глазах Эссен. И только тут она успокоилась и похвалила себя за уступчивость.

Пианист стал словно выше ростом, вся его фигура приобрела величественность, руки — упругость. Мария Петровна не могла оторвать глаз от рук пианиста, они жили своей жизнью, они летали, едва касаясь клавишей, и легкие прозрачные звуки заполняли залу.

Пианист поднялся. Он вытер платком вспотевший лоб и с трудом принимал овацию, словно она мешала ему пребывать в волшебном мире музыки.

Рядом пустовало кресло. Мария Петровна не раз на него поглядывала. Но она не заметила, как в кресле оказался жандармский офицер. Он учтиво извинился за беспокойство и также принялся аплодировать пианисту. Казалось, он не смотрел никуда, кроме сцены, но сердце Марии Петровны похолодело. Она уже не могла наслаждаться музыкой, тревога медленно охватывала ее.

Офицер подносил к глазам бинокль, попросив у Марии Петровны программу концерта, делал там пометки.

И вновь колыхнулся занавес, и парадная тишина взорвалась громом оваций. Служащий, в ливрее с блестящими золотом галунами, вынес корзину цветов. Пианист кланялся, приложив руку к сердцу, и превратился в обыкновенного человека, небольшого роста, некрасивого.

Эссен сорвалась с кресла и направилась в фойе. В проходе замедлила шаг и подхватила под руку Марию Петровну.

— Ты видела? — тихо прошептала та.

— Что? Нет, не обратила внимания. Почему ты сразу сжалась и стала сердито дышать?

— Сердито дышать? Рядом же жандармский офицер пожаловал.— Мария Петровна приветливо ответила на поклон знакомого и сильным движением направила подругу к туалетным комнатам.— По фойе не к чему.

Эссен закурила, чем вызвала недовольные взоры каких-то барынь. Мария Петровна принялась тщательно мыть руки. Она дождалась, пока они остались вдвоем.

— Что будем делать? Лучше уйдем от греха подальше.

— Сразу и уйдем? — возмутилась Эссен, делая последнюю затяжку и быстрым движением загасила окурок.— Может же офицер любить музыку, как все нормальные люди? Наконец, он пришел отдохнуть или назначил здесь встречу. Давай проверим все хорошенько и тогда решим. «Богатырская симфония» оказалась во втором отделении, и я бы себе никогда не простила...

— Ты обещала мне повиноваться и уйти при первой опасности! — упрекнула ее Мария Петровна.

— Я и сейчас не отказываюсь, но нужно проверить: действительно ли это опасность?

В зал они вошли, когда погас свет. Торопливо раскла-

ниваясь, вышел пианист. Теперь он опять был в том торжественно напряженном состоянии, как и при выходе в первом отделении. Казалось, ему побыстрее хотелось сесть за рояль, его раздражали и вынужденная отсрочка, и эти никому не нужные аплодисменты, и покашливание в зале, и приглушенный шепот, и стук кресел. Мысли его были в том удивительном мире музыки, где нужно было только прикоснуться к клавишам, чтобы стать счастливым.

Мария Петровна попросила у своего соседа программу. Тихим шепотом ответила на его вопросы об исполнении первых номеров и мягко улыбнулась, слушая его излияния по поводу столичной знаменитости. Эссен сидела вполоборота, переговариваясь со своей соседкой, курсисткой. Поплыла музыка. Звуки ее сладко и больно обволакивали сердце, захватывали и уносили в какие-то неведомые и прекрасные дали. Мария Петровна заставила себя усилием воли оторваться от музыки и все свое внимание сосредоточила на жандармском офицере.

Лицо Эссен осенила счастливая улыбка. Она наслаждалась, переложив все волнения на Марию Петровну. Прожектор выхватил лицо пианиста. Аскетическое, надменное. Звуки, гневные и протестующие, поплыли по залу.

Краем глаз Мария Петровна уловила момент, когда офицер попытался вглядеться в лицо Эссен. Она насторожилась. Эссен слушала музыку, лицо ее стало строгим, полуоткрытые губы обнажили ровные зубы, пушистые ресницы дрожали. Вьющиеся волосы были забраны в тугой узел черепаховым гребнем. Тонкие пальцы держали лорнет. И такая отрешенная красота была на ее лице, такое умиротворение, что Мария Петровна, как ни привыкла она к ее внешности, была потрясена.

Офицер тоже глядел на нее. Но вот рука его дрогнула, из-за обшлага мундира он извлек портрет, тот, что рассылают для опознания по полицейским участкам, внимательно вгляделся в него.

Мария Петровна, уже не заботясь о приличии, наклонилась и едва не вскрикнула. На нее смотрела Эссен, только в полосатом тюремном платье, похудевшая и с тоскливыми глазами. Она принялась громко аплодировать и села вполоборота, пытаясь собой загородить подругу. Упал занавес, жандармский офицер тоже начал аплодировать. Приветливое выражение сошло с его лица, его сменила озабоченность и напряженность.

Мария Петровна тихонько сжала рукой локоть Эссен. Та едва приметно опустила глаза.

Жандармский офицер искал повода, чтобы получше рассмотреть свою соседку. Ему мешала настойчивая любезность Марии Петровны, которая всякий раз заводила разговор, когда он делал хоть малейшую попытку посмотреть в сторону соседки. Бывают же такие дамы.

И опять погас свет. Офицер наклонился вперед, пытаясь снова рассмотреть соседку Марии Петровны.

Мария Петровна сейчас же вступила с ним в разговор. На них зашикали. По залу плыла музыка.

Офицер поднял глаза и повернул голову — кресло его соседки оказалось пустым. И более того, никого не было и в другом кресле. Дамы исчезли.

Жандармский офицер перестал изображать из себя меломана. Он поднялся и, не обращая внимания на сердитые замечания соседей, двинулся вдоль кресел к выходу. На него шикали и упрекали в плохом воспитании. Билетер при выходе тоже задержал его.

В фойе было пусто. Тускло горели светильники. В резных рамах желтели афиши прошлого сезона, их по традиции выставляли в фойе. Застыли кресла под парусиновыми чехлами. Офицер заглянул в буфет. Там гремел рюмками мальчик в белой на вырост куртке, расставляя их на подносах.

— Ты не видел двух дам? Возможно, заходили освежиться сельтерской водой? — без особой надежды спросил он, уверенный, что беглянки отсиживаются в туалетной комнате.

— После перерыва в буфет никто из дам не заходил.— Буфетчик наклонил голову с ровным пробором и ловко принялся перетирать чистым полотенцем посуду.

Офицер махнул рукой и приготовился встретить дам в фойе. Он замер, охваченный тишиной. И вдруг послышался стук каблуков. Легкие убегающие шаги. Офицер кинулся к лестнице и увидел на площадке при повороте двух спускавшихся дам. Одна из них, полная, невысокого роста, натягивала на ходу пальто. Другая, поигрывая зонтиком, не спешила. Она легко перешагивала через ступени. Ни волнения, ни торопливости не было в ее движениях. Гулко отдавались шаги офицера. Он тоже на ходу натягивал шинель, выговаривая гардеробщику, который замешкался с фуражкой.

Привлеченные шумом, дамы подняли вверх головы. Улыбнулись не без приветливости и сунули по монете швейцару, распахнувшему перед ними резную дверь.

Офицер кубарем скатился вниз. Швейцар недоуменно на него взглянул: «Ваше благородие должны идти чинно, а не сваливаться с лестницы, словно скубент».

Вечер был дождливым, темнота ранее обычного прикрыла дома и улицы. В косых строчках дождя дрожал свет уличных фонарей, оранжевые круги на тротуаре пересекали струйки воды.

Жандармский офицер чертыхнулся. В какую сторону могли податься эти дамы? Да и откуда в тихом Саратове взяться такой революционерке? Полноте, не померещилось ли ему?

Но зачем дамам понадобилось столь поспешно покинуть зал? Сомнения не оставляли его. Человек он в городе новый и, к сожалению, не мог знать с кем сидела рядом дама, столь хорошо известная охранке по кличке «Шикарная».

Невозможно, чтобы приезжими были обе. Нет, его соседка, невысокая и полная, с тихими движениями и отличным французским языком, должно быть, из местных, она, видимо, и надумала затащить гостью на концерт. Плохо, что он поддался порыву и не пытался у швейцара установить, кто же такая эта полная дама. Бежал, как безусый юнкер. Возвращаться в музыкальное училище, пожалуй, не имело смысла. Жандармский офицер уныло оглядел улицу с редкими прохожими и недовольно передернул плечами. И все же разумнее всего было объясниться со швейцаром, чем бродить под дождем в надежде на случайную встречу. Но тот разве всех упомнит?

Офицер бесцельно бродил по улицам, заглядывал под зонтики. Устал и промок. Постепенно мысли его успокоились — в управлении никто не мог знать, что он встретил в концерте преступницу под кличкой «Шикарная», на карьере его это не отразится. Значит, следовало успокоиться...

Мария Петровна с Эссен вернулись в квартиру поздней ночью. Марфуша попыталась высказать свое неудовольствие, но, посмотрев на их промокшие пальто и сырые ботинки, на зонтики, с которых ручьем катилась вода, промолчала. Значит, опять что-то приключилось! Василий Семенович стоял бледный, от него пахло валерьяновыми

каплями. Он не ответил на просительный взгляд супруги, с чувством захлопнул дверь в кабинет.

Эссен развела руками и в каком-то необъяснимом порыве обняла Марфушу. Та засмеялась и, приняв мокрое платье, быстро отправилась его просушить на кухню. Мудрости Марфуше не занимать — все может случиться,— нужно, чтобы платье было сухим.

Мария Петровна понимающе улыбнулась и пошла в столовую накрывать к чаю. О случившемся не говорили. Долго пили чай с малиновым вареньем. С удовольствием съели яблочный пирог. А потом молча сидели и смотрели друг на друга. В серых глазах Эссен все еще светилось виноватое выражение — действительно, едва сама не попала в историю и Марию Петровну бы подвела. Мария Петровна ругательски себя ругала, что не сумела удержать Эссен от непростительной оплошности. У нее больше конспиративного опыта, могла бы и предугадать события. Эссен молча протянула руку. Мария Петровна крепко ее пожала — когда-то им придется вновь встретиться на трудных дорогах подполья.

Эту ночь Эссен не спала. Писала, шифровала свои письма, сжигала на керосиновой лампе лишние бумаги, укладывала вещи. Оставаться в Саратове становилось опасным — раз пришла ее фотография, значит, объявлен всероссийский розыск. Нужно уезжать да и дел превеликое множество — теперь она направлялась в Вологду.

В десять часов утра Мария Петровна, приосанившись, отправилась к знакомому адвокату. Адвокат из местных знаменитостей играл в либерализм. Изредка укрывал у себя нелегальных. Однажды ходил к губернатору, протестуя против содержания под стражей несовершеннолетней гимназистки. Как-то он отвалил двадцать рублей на партийные нужды. Но последнее время адвокат все больше отказывался от просьб. Но выхода другого у Марии Петровны не было. Нужно было обеспечить безопасный отъезд Эссен из Саратова.

Адвокат встретил ее хмуро. Подошел к окну и тихо приоткрыл портьеру, опасаясь наблюдения. Мария Петровна рассмеялась — нет, благонамеренному адвокату не грозит наружное наблюдение. Он долго говорил об опасности, которой он себя подвергает и просил его беспокоить только в серьезных случаях. Мария Петровна улыбнулась. Как всякий либерал, он берег себя для великого дела.

Мария Петровна долго упрашивала адвоката проводить на вокзал свою подругу. Подлинной причины она объяснить не могла. Разговор получился долгим и неприятным. Главное, что его убедило,— это вагон первого класса и красота подруги, которую она пылко расписывала.

Эссен запретила Марии Петровне провожать себя. Адвокат заехал на извозчике. К пролетке с красными дутыми шинами, чему несказанно удивилась Марфуша, вынесли коробки. Красота Эссен произвела на адвоката благоприятное впечатление. Он галантно целовал ей ручку, подсаживая в пролетку.

Как ни привыкла Мария Петровна к искусству перевоплощения своей подруги, но на этот раз едва сдержала удивление. Эссен стала другой. В великолепном парижском костюме. Затянутая рюмочкой, в модной шляпке, на руках лайковые перчатки. Она сделалась выше ростом, надменной и чужой. Марфуша оробела и недоуменно вглядывалась: неужто эта та самая гордая барыня, к которой теперь подступиться боязно, и была той веселой гостьей, с которой она ночами на кухне распивала чаи? Эссен отчужденно раскланялась с Марией Петровной — не хотела, чтобы адвокат догадался об их близости на случай возможного ареста, говорила только по-французски, напевно растягивая слова и грассируя.

Едва затих стук копыт на Малой Сергиевской улице, как Мария Петровна, прихватив Катю, также отправилась на вокзал, чтобы проследить за отправкой Эссен.

Она смешалась с толпой, заняла очередь в кассу, а сама не сводила глаз с публики, стоявшей у вагона первого класса. Адвокат картинно что-то рассказывал Эссен, похохатывал, покрикивал на кондуктора, заносившего коробки в купе. Эссен опустила густую вуаль на глаза и прижимала к груди букет роз. Она кокетничала и ни разу не взглянула в сторону Марии Петровны, чем очень обрадовала ее. «Слава богу, не заметила». Около вагона суетился господин в мягкой фетровой шляпе и полупальто с бархатным воротником. Эссен сразу направилась к нему и о чем-то спросила. Тот торопливо достал карманные часы. Мария Петровна приметила еще шпика, тот держался на почтительном расстоянии, словно ждал сигнала. Ударил вокзальный колокол — десять минут Марии Петровне показались целой вечностью.

Вагон качнулся, и Эссен, стоявшая в дверях, стала уплывать. На мгновенье она приподняла вуаль и такой благодарностью полыхнули ее глаза, что Мария Петровна поняла: Эссен ее сразу приметила, но ждала последней минуты. Она улыбнулась, прижала к груди оторопевшую Катю и крепко ее расцеловала.

Последнее, что она заметила,— это фигуры шпиков, которые наконец-то подошли друг к другу и принялись о чем-то спорить. Но это ее уже не беспокоило. Эссен была вне опасности.

МАСТЕРСКАЯ ПРЯТОК

Вернемся к событиям, которые произошли в апреле того же 1903 года в Саратове.

Думается, что игрушечные дома бывают только в детских сказках: дома с наличниками, в два окошечка, вросшими в землю, кривые крылечки со сломанными ступеньками, крыши, крытые соломой, робкие березки, с растрепанным гнездом вороны, похожим на шляпу великана. Водосточные трубы выплевывали воду мимо бочек со вмятыми боками. Дорожки в один кирпич вели к крылечку с подгнившей лавочкой и ведром для колодезной воды. На крышах и стенах домов черный и плотный слой копоти и пыли, слежавшейся от времени и от дождей.

Такие домишки, вросшие в землю, стояли на окраине Саратова. С недавних пор с ними рядом появился забор с новыми тесовыми воротами и калиткой под козырьком. За воротами виднелся дом под зеленой крышей. Вдоль забора протянулась толстая проволока, и громкий лай цепного пса оглушал округу. Над воротами чернела вывеска «Столярная мастерская».

Хозяином ее был питерский рабочий Канатчиков. Хозяином он стал недавно и к положению своему еще не привык. Было у него три работника, на которых он и кричал с утра до ночи. Ходил Канатчиков в плисовых штанах, в сатиновой рубахе и холщовом фартуке. В воскресные дни Канатчиков вместе с работниками в поддевках и сапогах, смазанных дегтем до блеска, садился на скамеечку и добрых два часа на виду у всей окраины лузгал семечки. Голову для такого случая он смазывал лампадным маслом и расчесывал на прямой пробор. Поддевку широко распахивал,

чтобы виден был жилет с медной цепью для часов. Работники попались ему непьющие, в драках и поножовщине, вспыхивающих среди мастеровых, участия не принимали.

Дела в столярной мастерской шли неплохо. Каждую субботу из ворот выезжали подводы, груженные буфетиками и столиками. Канатчиков важно шел сбоку и следил, чтобы на толкун, иными словами, на базар, товары доставлялись в целости и сохранности.

Конечно, буфеты и кухонные столы, стулья да табуретки были простой работой, но они пользовались спросом. Иной раз в мастерскую приезжали из города и заказывали дубовый буфет с резьбой и кистью винограда над большими стеклами. Винограда мало кто в Саратове видывал и поэтому изображение его высоко ценилось. Канатчиков эти заказы принимал неохотно — работа большая, а денег настоящих местные толстосумы не дадут. Куда выгоднее делать дешевую мебель для толкуна — и быстро, и просто, и для кармана хорошо.

Захаживал в мастерскую и околоточный, грузный и неповоротливый человек лет пятидесяти. Его усаживали между верстаков и долго говорили о том, что цена на тес растет, а цена на кухонную утварь падает. Корили продавцов леса, они-де совсем стыд потеряли и норовят подсунуть хозяину, иными словами, Канатчикову, гнилье, изъеденное жучком. Околоточный кивал головой и соглашался. Потом околоточного поили водкой, давали трешку на опохмелку и брали с почтением под руки. Домой не провожали, а выводили за ворота и усаживали на лавочку, нахлобучив фуражку на глаза. Околоточный сладко дремал на виду у всей слободки, а потом, покачиваясь, брел с песней по улочкам, веселя обывателей.

Канатчиков ругался после каждого посещения околоточного и записывал в книгу расходов трешку как пропащую.

Привозили к Канатчикову и кругляк, который он покупал партиями на лесном базаре, торгуясь до хрипоты. Лежал здесь и костер березовых дров под навесом для просушки.

Апрель в том году выдался теплый. Снег почти сошел, лишь чернел у бузины, буйно разраставшейся летними месяцами. Почки деревьев набухли и темнели красными острыми листочками. Вышла первая зелень, изумрудно-синяя от свежести и молодости. И первоцвет — желтые-

желтые шапки на чешуйчатом стебле. Улыбались солнцу одуванчики, вздрагивающие от каждого дуновения ветерка. Они распускались при солнце и укрывались в зеленые лепестки вечерами.

Воздух был наполнен ароматом распускавшейся зелени, зацветали вишни, одичавшие яблони.

У калитки как-то остановилась невысокая полная женщина. Она поправила на голове черный кружевной платок, который обычно носили кухарки из хорошего дома, и поставила на скамеечку корзину с овощами. Дернула ручку колокольчика и, услышав громкий лай собаки, стала ждать.

Калитку открыл работник в кирзовых сапогах.

Во дворе мастерской продолжалась торговля. Приказчик с напомаженным и завитым чубом торговал буфет. Буфет и вправду был искусной работы: с лакированными дверцами, с зеркалом и отделениями для посуды. Пузатые бока буфета украшала резьба — и груши, и яблоки, и те самые кисти винограда, без которых буфет переставал в глазах приказчика быть буфетом.

— Значит, двадцать пять, и по рукам! — Приказчик достал кошелек с деньгами.

— Про двадцать пять и говорить не буду! — Канатчиков с достоинством отер потный лоб платком.

— А ты, мил человек, торгуй правдой — больше барыша будет! — поучал его приказчик, зажав кошелек в кулаке.

— В убыток торговать нам никак невозможно: товар хороший, работа и того лучше. Смотри, какие швы, резнина? А? Молчишь, тут и дурак увидит, где хорошо, а где плохо. На него, черта, поди, леса-то одного пошло на четвертной, а уж работа-то и цены не имеет.— Канатчиков самодовольно открыл дверцы и провел ладонью, смахивая с полок одному ему видимые стружки.— Ну и лачок в этот раз — неделю целую стоит, а в нос шибает.

— Товарец-то первый сорт! — с улыбочкой подтвердил и работник, открывший женщине калитку.— Пошел, шалый, пошел...

Огромный пес летел на женщину с громким лаем. Его сильные лапы пружинили, грудь, широкая и крепкая, воинственно вздрагивала, лохматые уши с кисточками тряслись, он широко раскрыл пасть и воинственно оскалил большущие клыки. Проволока, на которой ходила цепь, прогнулась и постанывала.

Приказчик попятился и, выругавшись, сказал:

— Ну и кобель у тебя, хозяин!

— Одно слово — зверь! — не без удовольствия подтвердил хозяин.— Сам понимаешь — товару много, особенно под субботние базарные дни. Лихие люди завсегда норовят украсть, что плохо лежит.

И вдруг пес заскулил, увидев женщину. В глазах его вспыхнули хитрые искры и желтые круги расползлись.

— Поди, хозяюшка, сама собаку имеешь — ишь Шарик-то собачий дух учуял,— быстро заметил Канатчиков и грубым голосом прикрикнул на пса: — Поди, поди, не балуй...

— Да кто из хозяев без собаки живет! — ответила женщина.— Я к тебе по делу: сундучок-то мой готов али нет?

Канатчиков нахмурился: эко народец — с одним делом не закончил, а она о своем заговорила.

Кажется, неудовольствие хозяина поняла и женщина. Она скромно присела на табурет и приготовилась ждать конца торга, вцепившись в корзину руками.

— На торгу за слова ничего не продают! — вразумлял Канатчиков приказчика.— Не сходно — не сходись, а на торг не сердись! Ты, милой, торгуйся скупо, а расплачивайся щедро.

— На торгу два дурака: один дешево дает, другой дорого просит,— урезонивал его приказчик, и глаза его, хитрые, под наплывшими веками, почти закрылись.

— На нашем торгу все сойдет: гусь да баба — торг, два гуся, две бабы — ярмарка,— веселил работников Канатчиков, в душе сердясь на надоедливого приказчика.— Ну, браток, поди, часа два мы глотки-то дерем — пора и честь знать. Мне за этот буфет на толкуне и сорок рублев отвалят — дай только субботы дождаться. Да хорошему человеку удружить хочется...

Приказчик сдвинул фуражку на чуб и почесал затылок. Потом взмахнул рукой и бросил кошелек о землю.

— Где наша не пропадала!

— Вот это другой разговор! — подобрел Канатчиков и, обернувшись к работнику, приказал: — Поди кликни ломового...

Приказчик поднял кошелек и принялся отсчитывать деньги. Канатчиков их долго щупал, смотрел на свет и, вздохнув, убрал в широкие карманы поддевки.

Женщина ждала, пока с криком погрузили буфет на подводу, пока, проскрипев, закрылись ворота и спустили пса с цепи.

Казалось, пес только и ждал часа. Огромный, лохматый, он бросился на грудь женщине и, ловко подскочив, с размаху лизнул ее в губы. Отлетел и короткими прыжками закружил по двору, натыкаясь на доски и недоделанную мебель. Пушистый хвост вытянулся, и весь он, подобно стальной пружине, сжимался и выпрямлялся, не сводя круглых влюбленных глаз с женщины.

— Разбойник ты, Шарик! — не без удовольствия заметила женщина.— Ты мне всю конспирацию портишь... Иди, иди, бездельник, получай колбасные обрезки...

Она достала сверток и выложила счастливому Шарику обрезки, рука ее утопала в пушистой рыжей шерсти.

— Совершенно испортили Шарика, Мария Петровна! — ворчливо выговаривал ей Канатчиков, не отводя потеплевших глаз от собаки.— У других цепные кобели — звери, а наш разожрался-то как! Карикатура одна, а не собака! А тут вы с баловством.

Мария Петровна понимала, что ворчал Канатчиков для порядка, и пса своего любил и баловал никак не меньше, чем она. Да и хитрющий Шарик это знал, кося круглым глазом и с цирковой ловкостью подбрасывая кружочки колбасы.

— Тут у нас Шарика задумали украсть, Мария Петровна,— не утерпел Воеводин, один из работников, молодой парень с умным и серьезным лицом.— Да, да, едва отбили Шарика... Ночью купец подослал приказчика-сидельца, чтобы тот увел Шарика. Он понравился ему внушительной внешностью. Шарик шум поднял, мы схватили колья, все как полагается.

— Это Шарика-то за лютость хотели украсть! — Мария Петровна засмеялась, вытирая слезы.— Доброта его хуже воровства. Действительно, мне пора перестать таскать ему куски, а то, поди, и сомнение заронит у обывателей.— И обернулась к Шарику: — Ты, друг, на меня бреши, как на каждого постороннего.

— Шарику подарки... А нам? — Воеводин покосился на корзину с овощами.— Вряд ли без гостинца пожаловали, Мария Петровна.

Лицо женщины покрылось паутиной морщинок. Засмеялась.

— В Саратов пришел транспорт «Искры»...— Она протянула сверток, завернутый в бумагу.— Здесь двадцать последних номеров. События в стране удивительные — все внимание партийной пропаганде. Это для завода Гантке — завод металлургический, народ там крепкий, вот и почитайте в обеденный перерыв...

— Это не извольте беспокоиться! — Воеводин шутовски поклонился, подражая только что уехавшему приказчику.— Пронесем так, что комар носу не подточит. Кстати, проносить стало трудно. Сторожами стали брать из бывших городовых. В проходной обыскивают, да с таким умением, что диву даешься!

— Чему удивляться, когда обычные сторожа не справляются. Вот и зовут переодетых городовых,— это сказал Никола и закашлялся, приложив платок к губам.

«Значит, опять кровь горлом». Чахотка — обязательный спутник наборщиков. Судьба Николая необыкновенная. Он работал в Москве в типографии Сытина. Наборщик классный и политикой не интересовался. Вместе с ним на квартире жил и его старший брат. Однажды брата забрали в участок, допросили и забили до смерти. Затем Николай узнал, что брат его работал в динамитной мастерской на Охте. И сразу повзрослел. Стал посещать кружки, по горсточкам выносить шрифт для подпольной типографии. Как-то отпросился в деревню в отпуск, а сам поселился за дальней заставой на положении невидимки. Почему-то долго не могли найти ему замену, и он проработал кротом полгода. Вышел совершенно больным. Просидел в деревне на сеновале,отдышался и настоял, чтобы его отправили работать в динамитную мастерскую на Охте. Это была глубоко законспирированная мастерская социал-демократов, там производили гранаты, бомбы и динамит. Работали с большим риском, оборудование было самодельное, взорваться и взлететь на воздух могли ежечасно. В комнате стояли большие столы, а на столах колбы, пробирки, свистящие парами сосуды, доски с чертежами бомб. Здесь работали открыто, не надеясь сохранить жизнь при опасности. Как-то Мария Петровна побывала в такой мастерской — конечно, она не из робких, но подивилась мужеству тех, кто создавал оружие для рабочих. Ввозить оружие из-за границы сложно, да у партии и денег-то нет для закупки его. Вот и возникли тайные мастерские по производству оружия. Самодельные, плохо оборудован-

ные. Как-то она сказала Николаю, что поражается, как трудно работать в оружейных мастерских, тот удивился: «Какая разница,где работать — то ли в оружейной мастерской, то ли в подпольной типографии? Да и для царского законодательства это не имеет значения: и за работу в подпольной типографии, и за работу в динамитной мастерской полагается одинаковое наказание — каторга!»

Николай и в динамитной мастерской проработал полгода. Здесь конспирация была еще строже, и ему вообще не пришлось выходить в город. Так и дышал ночью у открытой форточки. Однажды морозной ночью появились на снегу черные тени. Черные тени цепью охватили уединенный дом, где располагалась динамитная мастерская. Николай поднял тревогу. Все заняли круговую оборону и приготовились к вооруженному сопротивлению. Николаю не пришлось отстреливаться — ему приказали покинуть конспиративную квартиру и сообщить по цепи о провале. Как было трудно уйти и оставить товарищей. Николай попробовал отказаться, но ему напомнили, что приказы не обсуждают, приказы нужно исполнять. Николай выбил окно и выпрыгнул на снег. Ушел он в тридцатиградусный мороз без сапог, набросив на плечи чье-то чужое пальто. Бежал так, что дух захватывало. Откуда у него в эту ночь взялись такие силы? Мороза он не почувствовал — ноги обжигал снежный наст. Кто-то набросился на него в темноте, он выстрелил, почувствовал, словно полоснули его ножом по плечу. И опять дали залп — это отстреливалась динамитная мастерская.

На явку он ввалился под утро, окровавленный и с обмороженными ногами. Девушка, курсистка с Бестужевских курсов, приняла его. Отец ее, ветеринарный врач, разрезал пальто ножницами и стал промывать рану. Два дня Николай провел в забытьи — его перевязывали, отпаивали горячим молоком, растирали конопляным маслом. Курсистка куда-то исчезла, и за ним ухаживал ее отец. Он качал головой и никак не мог понять, что заставляло этих молодых людей идти на виселицу. Курсистка предупредила товарищей, и в засаду, которую оставили в динамитной мастерской, никто не попал. На третий день явился незнакомый парень и принес билет до Саратова. Ему завязали щеку платком и посадили в поезд после третьего звонка. Разговаривать с соседями запретили, вместе с ним ехала молоденькая девушка — провожала. Сразу после Москвы

по вагону прошли жандармы. Николай отвернулся к стене. О чем разговаривала девушка с жандармами, он не помнил — голова болела, ныла рука, ног он не чувствовал. К удивлению, до Саратова доехали благополучно. Девушка отвела его на конспиративную квартиру, где он встретился с Марией Петровной. Она его расспросила о событиях той страшной ночи и велела отдыхать. Приходила слушательница фельдшерских курсов и делала перевязки. Врача позвать не могли. По закону врач был обязан поставить в известность полицию, если оказывал помощь при ранении огнестрельным оружием. Николай долго болел, за ним ухаживала старая женщина. В морщинах, с грубыми от работы руками. Женщина кормила его, удерживала ночами, когда в бреду он вскакивал и кидался под подушку за оружием. Его долго преследовали кошмары — погоня, провал, пальба... Как-то он спросил Марию Петровну, которая его регулярно навещала, о судьбе динамитной мастерской. В «Петербургском листке» промелькнуло сообщение о таинственном взрыве на Охте и аресте злоумышленников, оказавших властям вооруженное сопротивление. Первый раз в жизни заплакал Николай — друзей приговорили к смертной казни. Мария Петровна положила ему руку на голову и молча гладила. Затем она отправила Николая работать в мастерскую пряток.

Мысль о создании мастерской пряток пришла к ней давно, еще во времена ее юности, когда она работала в организации народовольцев. Искусство конспирации было там высоким, и выучку она прошла превосходную. Действительно, как сохранить нелегальную литературу? Сколько людей рискует жизнью, чтобы доставить транспорт из-за границы. А как быть с литературой, отпечатанной в подпольной типографии? Прочитай и уничтожай, чтобы не попала в руки охранки? Неразумно... Нелегальная литература должна жить, ею должны пользоваться, передавать друг другу. Было время, когда рабочие прятали запретную литературу за иконы. Казалось, полиция не посмеет осквернить их. Но полиция, быстро распознав хитрости, первым делом при обыске срывала иконы. И бог спокойно взирал на это святотатство. Многих рабочих это отвратило от наивной веры в бога. Потом стали прятать нелегальщину в подпол, делали тайнички, выдалбливали стены. Но половицы полиция поднимала крюками, стены выстукивала, распознавая тайнички. Литература все чаще попадала

в руки охранного отделения, а владельцы ее все чаще брели в кандалах по Владимирскому тракту.

И Мария Петровна решилась. В Саратове возникла мастерская под непонятным названием «мастерская пряток». Комитет выделил немного денег, и Канатчиков, питерский рабочий, стал хозяином мастерской. Изобретательности его можно было позавидовать. Он и столы делал с двойными крышками, между ними — тайник. И табуретки, у которых вывертывались ножки, в середине ножки — тайник. И буфеты с двойными стенами, украшенные зеркалами, скрывающими тайник. И стулья с мягким сиденьем, куда можно было вложить ящичек с нелегальным изданием. И письменные столы с секретом, и игральные столики... Да разве можно перечислить? Главное, чем он гордился,— полено да бочка. Простое полено и обыкновенные бочки.

Секрет был простой. Брали полено и по возрастному срезу тщательно вынимали кляп, выдалбливали полость — и тайник был готов. В полость закладывали нелегальщину, закрывали кляпом и замазывали смолой. Полено не прятали, а клали в общий костер. Какие бы строгие обыски не происходили в доме, как бы полиция ни перекладывала дрова, надеясь найти недозволенное, все было тщетным. Полицейские вместе с другими поленьями перебрали и заветные, с тайниками. Да и как его можно было разыскать? Для этого нужно было разрубить каждое полено топором. Но до этого полиция не доходила. Посмеиваясь, Мария Петровна надеялась, что и не дойдет. А бочки... Их делали старательно, с двойными днищами, куда в клеенке закладывали нелегальщину. Ставили такую бочку под водосточную трубу или заполняли углем.

Умельцы у Канатчикова были классные — вода не проникала в тайник. И при обыске, когда полиция, гоняясь за запретной литературой, поднимала половицы в доме, выпускала пух из подушек, ей обнаружить что-либо так и не удавалось.

Да и кому из полицейских чинов могло прийти в голову, что нужно идти на улицу, опрокидывать бочку с дождевой водой и выбивать из нее днище? Пожалуйте, господа хорошие, стоит себе бочка днем и ночью на улице, а никто не прячет ее от глаз людских, никто не скрывает.

Вот такие поленья и бочки делал Канатчиков. Многим они спасли жизнь, избавили от ареста, а партийную орга-

низацию — от разгрома. Идея с мастерской пряток оказалась отличной.

— Мне пора, товарищи.— Мария Петровна поднялась, натянула на голову кружевной шарф и принялась застегивать на мелкие пуговицы потертый сак.

— А в мастерскую-то не зайдете, Мария Петровна? — спросил Воеводин, с трудом удерживая улыбку.

— Новые верстаки купили? — поинтересовалась Мария Петровна.

Канатчиков покосился на Воеводина и распахнул дверь. Следом вошли и Николай, и Воеводин, и Шарик. В мастерской появилось два новых верстака, токарные станки, усыпанные древесной пылью. На стенах ящики с инструментами. Хрустела под ногами завитая стружка. Вдоль стен стояли недоделанные шкафы, табуретки-заготовки. Пахло скипидаром и лаком.

Мария Петровна любила бывать в мастерской. Присядет и тихонечко смотрит, как красиво и ловко работает Канатчиков. Он легко подбрасывал куски дерева и точным размеренным ударом вытачивал одному ему понятные замысловатые узоры.

Она подошла к верстаку Канатчикова. Он вырезáл на дверце яблоки и груши. Словно были живые, с подкрашенными боками, покрытые лаком.

— Умелец, настоящий талант вы, Канатчиков! — восхитилась Мария Петровна и умолкла, не договорив.

В красном углу мастерской в прекрасной деревянной раме висел портрет Карла Маркса. Она поправила очки, не веря глазам своим. Да, действительно, портрет Карла Маркса. Город наводнен шпиками и полицией, а тут...

Мария Петровна растерянно оглянулась и увидела счастливое лицо Воеводина. Николай свертывал самокрутку. Канатчиков стоял с невозмутимым видом. Все с трудом удерживали улыбку.

— Ну и ну... Вы совершенно забыли о конспирации... Это такое легкомыслие, что я даже слов не нахожу...

— Как можно забыть о конспирации? — обиделся Канатчиков.— Эй, Воеводин...

Воеводин молча подошел к портрету и перевернул его. На Марию Петровну смотрели водянистые глаза царя Николая II. Мантия горностая. Шитый золотом мундир. Эполеты в густой бахроме. Значит, на одной стороне портрет Карла Маркса, а на другой — Николай II. Ну и дела!

Она не удержалась, начала смеяться. И сразу же счастливо расхохотался Канатчиков, сотрясался от смеха Воеводин, и Николай расплылся в довольной ухмылке.

— Ну и фрукты же вы, братцы! Никакой злости на вас нет, как говорит моя Марфуша! В нелегкий день принесет сюда околоточного, вот и встретите его Карлом Марксом... И провалите мастерскую...

— Зря беспокоитесь, Мария Петровна,— начал уговаривать Воеводин.— Это дело на мне. Как только Шарик дает знак, я сразу к портрету... Вот и получается взаимный интерес. И рабочему человеку приятно посмотреть на Карла Маркса, и околоточному удовольствие снять фуражку перед портретом государя императора.

Мария Петровна представила, как бы смеялась Эссен, смешливая по природе, увидев такой портрет. И опять не удержалась от улыбки.

— Очень прошу, товарищи, помнить об осторожности! — серьезно попросила она.— Когда мне доставите полено?

Канатчиков подобрел, понял, что гроза миновала. Он сразу заокал, подражая местным воротилам.

— Не извольте беспокоиться, хозяюшка! Все доставим в аккурат и самым лучшим образом. Нам это не впервой!

— Бочку не прикажете? — в тон ему поинтересовался Воеводин, разглаживая ладонью волосы на прямой пробор.

— Кто от своего счастья откажется,— шутливо ответила Мария Петровна.— И бочку прихватите... Марфуша будет капусту рубить...

— Премного вам благодарны! — вежливо кланялся Николай.— Значит, поленьице и бочку-с...

Мария Петровна крепко пожала друзьям руку и, предупредив еще раз об осторожности, закрыла за собой калитку.

КУКЛА ЛЕЛИ

Шел дождь. Равномерно и звонко бил по железному карнизу, с громким всплеском стекал с водосточных труб, оставляя пенящиеся пузыри в кадушках. Изредка гремел гром, и тогда на белых занавесках прыгали яркие всполо-

хи молнии. Ветер срывал красные чешуйки с распустившихся лип и бросал на деревянную мостовую.

Мария Петровна любила непогоду: любила, когда крупный косой дождь бьет по стеклам, когда потоки дождевой воды с воем и кружением устремляются по водостоку, любила слушать завывание ветра в трубе и стук ветвей в окна детской комнаты.

Она долго стояла у окна, приоткрыв занавеску и вглядываясь в темноту, которую разрезала молния. Потянувшись, отнесла на кухню чугунок с картошкой, пар был необходим для проявления тайнописи в письмах, полученных из Женевы. Среди разной переписки было и письмо от Владимира Ильича, очень ее обрадовавшее. Владимир Ильич беспокоился о том, что не получал своевременной информации о положении в партийной организации в Саратове, и просил ее обстоятельно рассказать о делах. И еще нужны были деньги для издания газеты «Искра». На бумажке мелкими колонками писала она цифры и подсчитывала, сколько денег можно отправить в Женеву. Она стала обстоятельно описывать Владимиру Ильичу положение дел в Саратове.

Она зашифровала письмо шифром, который носил название «Медведь». Переписала колонки цифр на папиросную бумагу и, подумав, взяла в руки куклу. Большую, с кудрявой головой, напомаженными щеками, румяным ртом. Куклу эту она подарила старшей дочери Леле, которой шел седьмой год. Девочка была худенькая, болезненная, не по летам серьезная, куклу свою очень любила и даже своей сестре Кате не давала играть. Мария Петровна вздохнула и принялась ножницами отпарывать ей головку. Кукла удивленно прикрыла закрывающиеся глаза. В завитой головке лежали адреса, пароли и явки конспиративных квартир в Москве и Петербурге, в Ростове и Нижнем.

Мария Петровна, как секретарь комитета РСДРП, ведала техникой. Она предоставляла надежные адреса и фальшивые паспорта в тех случаях, когда человека ждал арест, укрывала людей в подполье, снабжала их паролями и явками в другие города. Память у нее была блестящая и натренированная, но, конечно, все упомнить она не могла. Бывали такие секреты, которые она обязана была беречь в памяти, не доверяя бумаге. Работы было великое множество, транспортировка «Искры» по Поволжью стала такой сложной, что невольно приходилось обращаться к

бумаге. Тайников в ее доме на Малой Сергиевской существовало несколько: в чулане, там хранились издания и запрещенные брошюры, потом их распространяли по городам Волги; в печи, из которой вынимались едва приметные кирпичи; полено с кляпом, бочка с двойным дном. Но самые секретные материалы, письма и явки хранились в головке красавицы куклы.

Мария Петровна устало зевнула и, аккуратно свернув в трубочку письмо к Владимиру Ильичу, затолкнула его в головку куклы. Вздохнула, представив, как бы огорчилась Леля, если бы увидела куклу в таком виде. Бережно приложила головку к туловищу и стала ее пришивать иголкой. Стежок, стежок, стежок... Мысли ее потекли спокойнее. Девочки, ее девочки... Как она их любит и как мало приходится уделять им внимания! Как-то Мария Эссен прибыла в Саратов на пароходе. Волга еще не очистилась ото льда, и крупные льдины отливали голубизной, вспыхивали и гасли в солнечных лучах. Эссен сидела в каюте первого класса, шикарная и неприступная, но сойти с парохода не могла. На палубе торчали два господина в мягких шляпах с прилипчивыми взглядами, в них она безошибочно узнала шпиков. Провожали, чтобы выявить связи. Эссен, неунывающая Эссен, ухитрилась с поваренком прислать ей записку. Положение критическое — каюта забита искровской литературой, а как вынести ее в Саратове? Не везти же ее дальше. Вот и надумала Мария Петровна взять с собой девочек. Пароход стоял на пристани всего один час и ничего другого она придумать не могла. Василий Семенович обрадовался, когда она пошла гулять с девочками, хотя и удивился, посмотрев, как тепло она оделась сама и закутала их. В каюте Эссен долго тормошила девочек, подарила шоколадки, удивлялась, как они выросли. О положении дел в партии рассказывала быстро, времени было в обрез. Мария Петровна слушала ее не перебивая. Ловко рассовывала прокламации по потайным карманам, пришитым к бархатным пальтишкам девочек. Эти карманы сделала недавно на всякий случай. Вот случай и представился. Потом запихивала литературу в свои бездонные карманы. Эссен только крутила головой от восхищения, глядя, как пустеет каюта. Правда, в ее огромных серых глазах застыла боль и тревога. Она жалела подругу, ее беззащитных девочек и себя, вынужденную скитаться. Она вышла их проводить. На палубе торчали все те же два

господина в мягких шляпах. Мария Петровна с двумя маленькими девочками подозрения не вызвала. Руки ее были свободными, говорила она весело, пересыпая свою речь французскими словами. Девочки, скользя, бежали к сходням, бежали, падая, по начищенной до блеска меди. Солнце заливало палубу, золотило волосы Эссен. Девочки бежали, смеялись, позабыв об осторожности. И вдруг четырехлетняя Катя, вечная проказница, зацепилась ногой за деревянные сходни. Мария Петровна услышала, как глухо накатывала волна на каменные надолбы. Девочку подхватил городовой и крепко держал, пока не подошла бледная Мария Петровна. Как она не умерла от страха! Страх за жизнь дочери, за провал — в единую боль. У нее закружилась голова, она едва овладела собой. Ноги сделались ватными, ее подташнивало. Она взяла девочку на руки и прижала к груди, не в силах произнести ни слова. У Эссен стояли слезы в глазах, она понимала, как рисковала Мария Петровна.

И опять мысли Марии Петровны вернулись к девочкам. И еще ей припомнился один день. Эссен арестовали в Вологде. Ее вновь ждала Сибирь. Годы ссылки, вынужденного бездействия казались страшнее смерти, и она потребовала, чтобы организовали ее побег. Варианты предлагались нереальные и самые фантастические. Доведенная до отчаяния, могла наделать глупостей.

Мария Петровна, узнав об этих прожектах, взяла девочек и поехала в Вологду под видом родственницы просить разрешение на свидание. В жандармское управление явилась с дочерьми. Так ей казалось конспиративнее. Было лето. Воздух пьянил терпким ароматом липы и цветущей сирени. Гудели пчелы, кружа над лепестками цветущих вишен. И странно, этот пчелиный гул после пережитого волнения еще долго ее преследовал. Девочек она нарядила в кисейные платья. Сама затянулась в корсет, в руках лорнет, который она часто подносила к глазам. Сидела чинная, замечания делала по-французски. Свидание разрешили с большим трудом. Мария Петровна ужаснулась, увидев, как изменилась подруга: глаза запавшие, бледная, движения резкие, нервные. На свидании присутствовала надзирательница. Она вмешивалась в разговор и своим присутствием оскорбляла подруг. Эссен эзоповским языком дала понять, что готовится к побегу. В записке, которую ей удалось передать, когда они обменивались рукопожатиями,

просила деньги, фальшивый паспорт и кинжал. Этот кинжал не на шутку встревожил Марию Петровну. Зная характер Эссен, она не сомневалась, что та пойдет на любые крайности, чтобы вырваться из тюрьмы. Мария Петровна не могла не выполнить ее просьбу. Но легко сказать: передать в тюрьму кинжал, деньги, паспорт... Каким образом? И опять помогли ее девочки...

С трудом она добилась нового свидания. Опять опостылевшие стены свиданной и надзирательница с грубыми руками и резким голосом. Эссен казалась спокойной, но Мария Петровна, хорошо ее знавшая, сразу увидела, как она напряжена и взволнована. Катя прижимала к груди куклу. Мария Петровна в торговых рядах перед свиданием купила ее девочке. Катя задыхалась от счастья, ласкала куклу, целовала ее и всем показывала. Подбежала она и к надзирательнице и протянула ей куклу, обняла ее за шею. И женщина преобразилась — она расцеловала Катю, посадила к себе на колени и принялась укачивать куклу, тихим голосом напевая колыбельную. Голос у нее срывался, и женщина испуганно подносила палец к губам, оглядываясь на дверь. Леля серьезными глазами смотрела на Катю, игравшую с надзирательницей. В руках она держала огромный букет сирени. Крупные белые и фиолетовые цветы еще хранили редкие капли росы. Надзирательница покосилась на букет и махнула рукой. Мария Петровна протянула ей для просмотра плед, в котором были запрятаны паспорт, явка и деньги... Надзирательница, занятая игрой с Катей, плед смотреть не стала. На это и рассчитывала Мария Петровна. Женскому сердцу всегда трудно устоять перед ребенком. Она попросила Лелю передать букет Эссен. Леля передала букет, и опять подивилась Мария Петровна, как не по-детски серьезно она смотрит. Эссен схватила букет и зарылась в него лицом — в букете был кинжал. Вся она трепетала, с трудом сдерживалась, понимая, как рисковала Мария Петровна. Влюбленных ее глаз Марии Петровне не забыть никогда, как и серьезных глаз Лели. Вот они, ее девочки...

Часы захрипели, и со звоном распахнулась дверца. Выскочила на игрушечное крылечко кукушка и прокуковала три раза. Мария Петровна подняла голову. Как время летит! Завтра встреча с Канатчиковым... Спать... Загасила лампу и улеглась на диване, боясь разбудить Василия Семеновича.

ОБЫСК

Резко прозвучал звонок, разрывая тишину. И сразу забухали кулаком в парадное. Звонок заливался. И опять сильные удары в дверь.

Мария Петровна приподнялась и стала протирать глаза. Послышался скрип двери — Василий Семенович заглянул в гостиную. Увидев Марию Петровну на диване, закутанной в шаль, он почему-то успокоился.

Хлопнула дверь, и послышались следы босых ног. Марфуша в наброшенном на ночную рубаху платке подошла к хозяйке. Постояла, помолчала.

— Поди, барыня, обыск! — проговорила она тихо и перекрестилась.

— Идите, Марфуша, пустяки. Только спросите, кому потребовалось ломиться ночью в дом?

Мария Петровна подошла к аптечке и отсчитывала капли валериановки в рюмку. В душе надеялась: кто-нибудь из связных привез транспорт литературы... Но привычная осторожность одержала верх — она кивнула Василию Семеновичу и, взяв куклу, отнесла ее в детскую.

Слышала, как недовольно выговаривал что-то Василий Семенович.

Марфуша подождала, пока барыня вернется из детской, и направилась открывать дверь.

Послышались мужские голоса, топот, звон шпор, пререкания с дворником — его бас Мария Петровна узнавала сразу.

— Обыск, барыня! — простонала Марфуша и скрылась.

Мария Петровна слабо улыбнулась Василию Семеновичу и сказала, пожимая ему руку:

— Не впервой, мой друг! Обойдется!

Василий Семенович сжался, словно от удара. Легко сказать — обойдется! А если нет? Если ее заберут в тюрьму, что будет с ними, с девочками? Ему кажется, что Леля, старшая, кое-что начинает понимать. Каждый раз при ночных вторжениях он видит эти не по-детски серьезные глаза. Он не ответил на улыбку жены.

В гостиную ввалился ротмистр.

— Обыск, господа... Вынужден производить по постановлению жандармского управления.

Ротмистр обвел супругов испытывающим взглядом и задержал его на Марии Петровне.

Марию Петровну трудно было узнать — выпрямилась, стала выше ростом, лицо посуровело. Вся напружинилась, сделалась надменной. Говорила ледяным тоном:

— Обыск? Покажите ордер, господин ротмистр... Сейчас уже четвертый час ночи. У меня больной муж и малые дети... Обыски в нашем доме частые и всегда безрезультатные: будто кто-то в охранном отделении задумал с нами шутки шутить...

— Весьма сожалею, мадам.

Действительно, всего лишь десять дней назад он производил обыск у секретаря губернской земской управы Голубева. И вот... Кажется, Василий Семенович, человек благонамеренный, но, как поговаривают, его жена...

Ротмистр был в городе человек новый. Но, приглядевшись, готов поклясться, что эту даму видел в зале музыкального училища Экслера.

Мария Петровна повертела в руках ордер, как всегда, его выписали на имя Василия Семеновича Голубева. Она так же узнала в ротмистре соседа по концертному залу, и едва уловимая усмешка коснулась ее губ.

— По-моему, мы с вами встречались...— Ротмистр снял шинель и отдал ее городовому.

— У меня нет знакомых в охранном отделении,— резко заметила Мария Петровна, и глаза ее полыхнули смешком.

Ротмистр закусил губу: конечно, нашел чем хвастаться. Злоумышленницу тогда упустил и Голубеву не мог найти в городе. В прошлый обыск в доме Голубевых его мучила мысль, что где-то он видел хозяйку дома. Но сегодня, когда она стояла к нему, обернувшись вполуоборот, вспомнил — безусловно в концерте. Нет, обыск нужно производить с особенной тщательностью.

Мария Петровна взяла мужа под руку и увела в кабинет. Сделала ему на сердце холодный компресс, уговаривала его ласково и тихо. Вернулась в зеленом капоте, с закрученными в тугой узел волосами. Сильная и уверенная. Говорила медленно и спокойно:

— Господин ротмистр, приступайте к вашему делу! — В голосе насмешка.— Прошу помнить, мой муж, секретарь губернской управы, человек с большим литературным именем, и он тяжело болен... Да, да болен... Мои девочки...

Надеюсь, вы человек воспитанный и понимаете, чем чреваты подобные ночные вторжения в наш дом.

Ротмистр вспыхнул:

— Долг есть долг! Мадам, я не из благотворительного общества по защите животных. Сожалею-с... Сидоров, проходи в кабинет! Сатинин, займись на кухне! — Ротмистр повернулся к Марии Петровне и резко приказал: — Попрошу сидеть в гостиной и без моего разрешения по квартире не ходить.

Мария Петровна села на диван и через раскрытые двустворчатые двери видела, что жандармы творили в кабинете.

На середину кабинета Сидоров, кряжистый человек с недобрыми глазами поставил стул и положил фуражку, неторопливо принялся осматриваться. Три книжных шкафа, набитых снизу доверху книгами — тут дел хватит до утра. Его удивляло, что в домах, в которых приходилось производить обыски, невероятное количество книг — и в шкафах, и на полках, и на столах, и на полу в пачках, и в углах в стопках. Книги расчерчены красными и синими карандашами, с закладками... Нет, эти образованные люди более ничего, видно, не делают, лишь портят глаза над ними. Он поднимал книгу и, схватив ее за корешек, сильно тряс, потом подхватывал обложку и, рассыпав страницы веером, снова тряс.

— Уму непостижимо! Что вы делаете с книгами? — простонал Василий Семенович, и лицо его покрылось яркими пятнами.— Так обращаться с книгами? Это Шиллер, господин жандарм... Шиллер...

— Ну и что? Шиллер? Эка невидаль,— пробурчал жандарм, бросая книгу на ковер и перебрасывая ее носком сапога к печке.— И в вашего Шиллера можно натолкать запрещенную литературу.

— Милостивый государь, Шиллер принадлежит не мне, а всему читающему и думающему человечеству! — Василий Семенович обратил свой гнев на ротмистра.

Мария Петровна по-французски посоветовала ему не метать бисер перед свиньями. Ротмистр усмехнулся: действительно, Сидоров разошелся, но, подумав, останавливать его не захотел.

Книги с шумом валились на пол. Сидоров с молчаливого согласия ротмистра приступил к разборке второго шкафа. В кабинете возникли горы книг, жандарм переступал

через них, чертыхаясь. Огорчение хозяина библиотеки его скорее забавляло.

Ротмистр перешагивал через книги, отпихивая валявшиеся на полу французские и английские издания.

— Господин ротмистр, очевидно, вы закончили гимназию...— с издевкой заметила Мария Петровна ровным голосом.— Неужто ходить по книгам удобнее, чем по ковру?

Ротмистр оглянулся и встретился с ее ненавидящим взором. Она стояла у косяка двери, сложив руки на груди и уничтожающе зло наблюдала за разгромом в кабинете.

— «Бельтов»,— прочитал вслух ротмистр, поднимая книгу с пола.— Бельтов...

Василий Семенович задохнулся от волнения. Бельтов — это псевдоним Плеханова. Как он не углядел?.. Боже, что теперь будет... Бельтов в личной библиотеке!..

Мария Петровна видела, как побледнел Василий Семенович, и набросилась на него коршуном:

— Ты опять не вернул книгу в библиотеку Народной аудитории... Сколько раз я просила тебя не опаздывать со сдачей книг? Мне туда и показываться стыдно — беру книги по твоей просьбе, желающих много, а ты забываешь возвращать.— И обратилась к ротмистру: — Не ставьте книгу на полку, я ее утром верну в библиотеку.

Ротмистр задумался: Бельтов... Бельтов... Впрочем, коли книга из библиотеки Народной аудитории, то, значит, разрешена цензурой. Бельтов... Ему казалось, что он запрещен к распространению. Впрочем, тут и человеком быть разучишься, если с утра до ночи гоняться за курсистками да революционерами. Он согласно кивнул и передал книгу Марии Петровне.

— Возможно, было бы целесообразнее ставить книги на прежнее место. Вы образованный человек, офицер и понимаете, как трудно собирать библиотеку, держать ее в порядке. Возможно, ваши действия следует рассматривать, как нарочитое желание причинить зло. Есть и такая категория людей.— Она царственным жестом повернулась к мужу.— Успокойся, дорогой, я помогу привести библиотеку в порядок.

Жандарм, грузный, с большим животом, наклонился и вытащил ящик письменного стола. Постоял с ящиком в руках, пытаясь его пристроить, и грохнул об пол. Василий Семенович застонал:

— Боже, там же мои статьи по земским вопросам!

Выписки из легальнейших изданий, тезисы, черновые наброски статей... Осторожно, умоляю вас... Я...

Ротмистр небрежно взял несколько страничек. Все правильно — очередные земские бредни, как улучшить жизнь крестьян. Голубев много пишет и широко печатается. «Ученый человек, но жену держать в узде не может»,— не без удовольствия подумал ротмистр. Жандарм посматривал на Василия Семеновича, пытаясь по выражению его лица определить, где хранится недозволенное. Лицо хозяйки дома было невозмутимым.

Тяжелые сапоги оставляли большие следы на записках хозяина дома. Ждал, когда взорвется его жена.

Мария Петровна отошла к окну и вглядывалась в темноту. Тускло мерцал фонарь, струйки дождя бежали по стеклу. Она видела очертания извозчичьей пролетки, дворника в холщовом фартуке. Она прижалась лицом к холодному стеклу: значит, дворника пригласили в качестве понятого. Значит, арест ее зависит от результатов обыска. Правда, ее арестовывали не раз и вне зависимости от результатов обыска. Но сегодня...

Сердце заныло — в доме так много компрометирующего: и транспорт литературы, его еще не успела полностью разнести по городу, и листовки с призывом принять участие в демонстрации, и зашифрованные письма, адресованные Владимиру Ильичу, и явки в другие города, и три фальшивых паспорта, и несколько бланков вида на жительство. Что-то будет...

— Что вы делаете? — Василий Семенович снял компресс с сердца. Он встал, бледный и трясущийся, широко расставил руки, преграждая путь в детскую.— Я даю честное слово благородного человека: в детской ничего недозволенного нет. Вы разбудите девочек, их испугаете... Маша, Маша, поговори с господином офицером...

Мария Петровна повернулась от окна. Жандармы в детской напугают детей, набезобразничают, как в кабинете. И Мария Петровна шагнула наперерез.

— Не трогайте девочек! Младшая еще не оправилась от кори...— Глаза ее полыхнули болью.

Но ротмистр коротко бросил:

— К сожалению, вынужден, мадам! Сидоров, приступай!

Сидоров отстранил руки Василия Семеновича и распахнул дверь в детскую.

В детской тихо горел ночник. Сказочный гном со смеющимся лицом прикрывал колпачком горящую свечу. Робкая тень вздрагивала, то укорачиваясь, то удлиняясь, на ночном столике. Обстановка в детской простая — две кроватки и диван для нянюшки. Нянюшка недавно приехала из деревни, откуда ее выписала Марфуша. Молоденькая девушка с пугливым и добрым характером. Она с трудом привыкала к жизни в таком шумном и большом городе, каким ей казался Саратов. К девочкам привязалась быстро, с радостью с ними играла. Василия Семеновича побаивалась, а Марию Петровну полюбила сразу. Правда, хозяйка была строга, мало разговаривала да и дома-то редко бывала.

Обыск при ней производился впервые, и она от страха притворилась спящей, засунув голову под подушку. Она слышала и ночной звонок, и звон шпор, и тихие голоса Марии Петровны и Василия Семеновича. Слышала, как падали на пол книги и трещали ящики книжных шкафов. Она слышала, как, словно тень, бесшумно вошла в детскую Мария Петровна. И к ее великому удивлению, она не поправила детские кроватки, как это делала всегда, а положила в кроватку Лели куклу. Обычно она не разрешала играть девочкам этой куклой. Кукла сидела на диване в столовой и удивляла всех большими закрывающимися глазами и платьем в густых оборках. Эту куклу Мария Петровна подарила Леле, когда той исполнилось шесть лет. Леля уже читала детские книги, чем очень удивляла молодую нянюшку, которая была неграмотной. А младшая Катя была непоседой и хохотушкой. Она и сейчас будто смеялась во сне, положив ладошку под розовую щеку.

Шумно распахнулась дверь. Жандарм внес десятилинейную лампу. Яркий свет резал глаза. Жандарм поставил лампу на ночной столик, и сказочный гном уронил свой колпачок. Свеча задымила, закоптила. И сразу проснулась Леля. Испуганно протерла глаза и молча принялась рассматривать чужих людей, наполнивших детскую. Люди в шинелях, громыхая шашками, громко переговаривались, бесцеремонно трогали вещи. Нянюшка лежала под одеялом, натянутом на глаза. Мама в дверях, суровая и на себя не похожая. Папа бледный, с прерывающимся от волнения голосом. Но больше всего ее удивило, что на подушке лежала красавица кукла. С закрытыми глазами. В кудрях. В нарядном капоре. Леля хорошо помнила, что, когда ее

укладывали спать, куклы на подушке не было. Значит, куклу принесла мама. Она вопросительно посмотрела на маму, но та не ответила на ее взгляд. Лишь глаза ее выражали тревогу.

Девочка придвинула куклу поближе к себе. Чужие лица, от них несло кожей и еще каким-то резким неприятным запахом. Они выкидывали белье из пузатого шкафа, трясли вещи. Кто-то сердито толкнул красный мяч, и он покатился по полу, выставляя то синие, то красные бока. Мяч путался под ногами. Городовой, его называли Сидоровым, в большущих сапожищах разрушил горку из игрушек. Леля испуганно подняла глаза на маму — обычно мама строго следила, чтобы горка содержалась в порядке. Но мама, всесильная мама, на этот раз молчала. Запищала заводная белочка, испуганно вздрагивая хвостиком,— на нее наступили. На полу валялся плюшевый мишка и жалобно смотрел. Разлетелись в разные стороны кубики, из них она складывала слова, чем очень гордилась. Запрыгала в широких юбках матрешка. И улыбался, покачиваясь, ванька-встанька разрисованным ртом. Нянюшка по требованию крикливого офицера встала, достала железный сундучок и торопливо выкладывала на пол его содержимое. Руки ее дрожали. Накрахмаленные юбки. Ситцевые кофты. Подзоры. Простыни. Городовой Сидоров их прощупывал, встряхивал, Нянюшка тихо всхлипывала. Леле было страшно и от беспорядка в детской, и от чужих людей. Почему не прикажет, чтобы не обижали нянюшку? Девочка опять внимательно посмотрела на маму.

Мама стояла у косяка двери, скрестив руки на груди. Лицо ее безучастное. Только глаза светились такой болью, что Леля заплакала. Шум разбудил и Катю. Она встала в кроватке, держась за сетку. Потерла кулачками глаза, и из них потекли слезы-горошины. И опять мама не подошла к Кате, не погладила ее по голове. Сидоров что-то объяснял офицеру, тот кивнул, и в детскую пришел новый городовой. Он быстро обшарил нянюшкину постель, сорвал с нее подзор и почему-то полез в матрац. Леле стало еще страшнее. Она боялась этих жадных рук. Вот так этот злодей подойдет и к ее кроватке и возьмет ее куклу. Куклу, которую она даже Кате не разрешала брать. Сидоров небрежно снял Катю с кровати. Сбросил на пол подушку. Наступил на ваньку-встаньку и чертыхнулся. Леля не стала ждать, чтобы чьи-то руки притронулись к ней. Она

слезла с кровати и взяла на руки куклу. На мгновенье ей показалось, что лицо мамы прояснилось. Девочка стояла босая на полу в длинной ночной рубахе. В руках она держала куклу. Кукла открыла глаза и с удивлением взирала на происходившее. К постели девочки подошел офицер, посмотрел на куклу. Та еще крепче прижала ее к груди и зло посмотрела на офицера. «Звереныш»,— послышалось ей. Это сказал офицер.

— Помогите, люди добрые! Спасите от ночных разбойников! — Марфуша в нижней юбке, оттолкнув Марию Петровну, ворвалась в детскую. Она схватила Катю и начала собирать содержимое сундучка.— Что же такое? А? Девчонка приехала в город, чтобы своим горбом заработать себе наряды, а вы их на пол да сапожищами?! Грабители... Разбойники... Детей решили обыскивать? Аники-воины...

— Убрать бабу! — приказал городовой.

Но Марфушу убрать из детской было невозможно. Она кричала, топала ногами, бросалась то поднимать вещи, то успокаивать детей, ругательски ругала городовых и угрожала офицеру поднять на ноги весь город. Она что-то выговаривала Василию Семеновичу, кричала на Марию Петровну, упрашивая подать прошение не то губернатору, не то царю-батюшке за ночные безобразия. Офицер не выдержал криков и ругательств, пригрозил ей тюрьмой. Но он плохо знал Марфушу. Та принялась хохотать и заявила, что она и в Сибири никого не испугается, но выведет на чистую воду антихристов и безобразников. Потом, отпихнув городовых, поправила детские постели и уложила девочек. Она так кричала, что офицер, не выдержав, приказал прекратить обыск в детской. Она ушла из детской последней, погасила свет и закрыла дверь на ключ.

— Пожалуйте, пожалуйте на кухню, господа хорошие! За тараканами на печку! — Марфуша оказалась каким-то образом впереди процессии. Она отстранила Марию Петровну и приказала хозяину лечь в постель. Лицо ее полыхало гневом.— Сколько раз можно беспокоить благородных людей? — спрашивала она у городового.— Жизни от вас нет никакой. Поди, каждую ночь одни и те же гости! Недозволенного не держим, чай, не какие-нибудь нехристи!

Мария Петровна никогда не видела Марфушу такой. Правда, она всегда ценила ее за преданность и любовь к девочкам, но о таких артистических способностях своей

кухарки даже не подозревала. Марфуша не сразу поняла, чем занимается Мария Петровна, но, поняв, с беззаветностью русской женщины стала во всем помогать ей.

На кухне голос Марфуши окреп и приобрел какие-то басовитые нотки. Здесь она не боялась будоражить детей и кричала, вымещая и обиду и страх одновременно. Мария Петровна вышла и в кухню. Она не могла пассивно ждать опасности.

Кухня ее беспокоила больше всего — в чуланчиках лежала литература, а на самом видном месте — полено, полученное от Канатчикова и начиненное литературой.

— Чугунок со щами... Жаркое от барского стола...— Марфуша гремела посудой и не выпускала из виду городового, тощего, с жадными руками, который ее инстинктивно настораживал.— Пробовать будете?

Путая русские и украинские слова, что бывало признаком сильного волнения, Марфуша с грохотом опрокидывала кастрюли, пугавшие блеском начищенной меди, чугуны, о которых Мария Петровна и понятия не имела.

— Таз для варенья, пан городовой! — Марфуша, подобно хорошему барабанщику, ударила о дно кулаком и, насладившись грохотом, спросила: — Тушеную капусту выкидывать из чугуна али нет?

Городовой зло скосил глаза, и подставив табуретку, полез посмотреть что находится за иконой божьей матери. Марфуша не стерпела такого надругательства:

— Пускай у тебя, горбатого черта, руки отсохнут! Этой иконой меня покойница мать благословляла... Не тронь божью матерь...

— Ну, чертова баба, угомонись! — разъярился городовой и, положив икону на стол, сорвал с нее крышку. Послышался звон разбитого стекла...

Обыск результатов не давал. Ротмистр давно бы его прекратил, но начальство предупреждало о необходимости самого тщательного и строжайшего обыска. Нити искровской литературы вели к Марии Петровне Голубевой.

— Здесь дрова для сушки. Вечером наколол дворник Степан, а эти дровишки для плиты... Степан, подтверди барину мои слова,— обратилась Марфуша к дворнику, которому надоело торчать на улице и он ввалился на кухню в надежде получить на шкалик.

Ротмистр отстранил сильным движением кухарку. Мария Петровна стояла с невозмутимым лицом. Сердце коло-

тилось с такой силой, что она слышала его удары. Сверху на дровах лежало березовое полено. Полено как полено, с черно-белой корой и сучками, пахнувшее смолой. Там в тайнике искровская литература. Найдут — долгий арест, а то и каторга. Ротмистр попробовал разобрать сложенные дрова. На помощь бросился городовой и остервенело начал разбрасывать поленья. Под дровами ничего не оказалось.

Ротмистр приказал открыть дверь чулана. И опять полетели дрова и старые корзины, о существовании которых в доме уже забыли.

Мария Петровна внимательно следила за обыском в чулане. Почему с такой тщательностью там копаются жандармы? У ротмистра даже вытянулось лицо, стало острым и хищным. Из чулана полетели дрова, и одно из них,березовое, подкатилось к ногам Марфуши. Мария Петровна внутренне содрогнулась: полено-то от Канатчикова! В чулане слышалась возня, проклятья городового, который пытался крючьями поднять половицы. Канатчиков с особенной тщательностью укладывал половицы в прошлое воскресенье — под половицами в клеенке искровская литература. Правда, сверток припорошили землей, сверху набросали всякую рухлядь, но чем черт не шутит... Она ругала себя за неосторожность. Было у нее золотое правило — как только получишь литературу, так сразу разнеси по адресам. А тут обыски и облавы волной прошли по Саратову. Вот и задержалась литература, предназначенная для Солдатской слободки.

— Марфуша, полено-то совершенно сухое. Не грех бы его распилить да в печь...— Мария Петровна постаралась разрядить напряжение.

Марфуша промолчала. Хорошо зная барыню, она искренне удивилась, что та вмешивается в такие мелочи. Мария Петровна откровенно зевала. Кухарка подняла глаза и посмотрела на ходики. Ба, седьмой час утра...

— Пора, барыня, и чай собирать, а то барину скоро в управу...— Марфуша принялась выгребать золу из плиты, давая всем своим видом понять, что терпению пришел конец.

Ротмистр вышел из чулана и посмотрел на ручные часы. Да, действительно, обыск затянулся — целых четыре часа. Улыбнулся и сказал Марии Петровне:

— Душевно рад, что все закончилось благополучно. Разрешите откланяться...

Городовой перешагнул через разбросанные дрова и направился к двери.

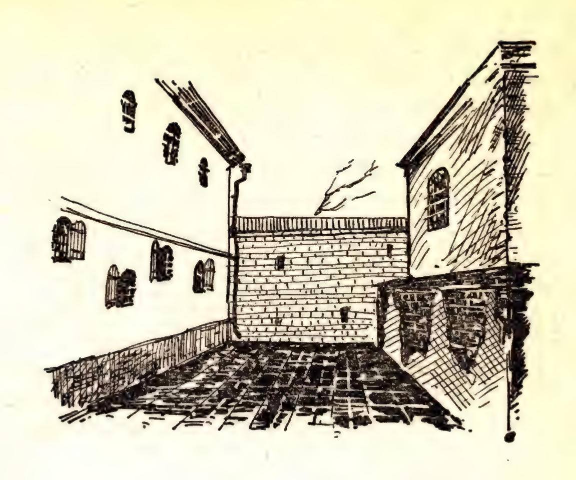
— Значит, откланяться? — зло переспросила Мария Петровна.— Думаю, что при существующих порядках очень ненадолго!

Она резко повернулась и пошла в детскую.

Марфуша закрыла дверь парадного, посмотрела на разворошенную, словно улей, квартиру, с сердцем сказала:

— У кого совести нет, тому и тень от кочерги кажется виселицей... Плачет она о вас, окаянных!





СУЩЕВСКАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ЧАСТЬ

В крови и пожарах угасала первая русская революция. В Москву ввели карателей, полки Мина и Римана. Над затихшими площадями и улицами висел сизоватый дым пожарищ. Горела Пресня, слышались равномерные и гулкие разрывы. Это стреляла артиллерия со стороны Ваганьковского кладбища. Горела баррикада у фабрики Шмита. Впрочем, вся фабрика стала баррикадой. Атаки карателей следовали одна за другой. Слышен был громкий крик галок, как только прекращалась пальба.

Землячка провела рукой по глазам, словно пытаясь отогнать непрошеные воспоминания. Она присела на скамейку в глухом дворике и недовольно покачала головой:

— Опять устала до одурения... Устала...

Взглянула на маленькие часики, болтавшиеся на цепочке. Вздохнула. Пожалуй, еще минут десять может посидеть в тишине.

Звенели последние дни марта. Солнце пробивалось сквозь облака и заливало дома широкими и щедрыми лучами. Ветер гнал облака, и обнажалось глубокое до синевы небо. Деревья почти сбросили толщу снега — зима выдалась снежная и холодная — и веселили глаз зелеными, робко проклюнувшимися почками.

«Значит, скоро весна»,— с радостным недоумением подумала Землячка, втягивая свежий воздух, наполненный ароматом набухающих почек и чуть прелой прошлогодней листвы.

Все эти месяцы она провела в глубоком подполье. По Москве шли повальные обыски. Начались судебные процессы над шмитовцами, которые получили «волчьи билеты». В Бутырской тюрьме в одиночной камере сидел Николай Шмит. Следствие велось долго и оскорбительно. Придумывали всяческие небылицы, чтобы скомпрометировать его в глазах обывателей. То объявляли его душевнобольным, то негодяем, который претендовал на царский трон.

Каково приходилось ей, секретарю Московского комитета партии, члену пятерки по руководству восстанием! Ночлега и то не удавалось найти. Жила она в пригороде, снимала комнатенку, заполоненную иконами, на оконце герань и клетки с чижами. В Москву приходилось ездить почти ежедневно, по ниточке связывала воедино партийную организацию, вернее, то, что уцелело после разгрома.

На сегодня назначена конференция военной социал-демократической организации. Первый результат ее хлопот. Долгими ночами она старалась понять, в чем была причина поражения революции. Героизм и решимость дружинников безграничны — сколько прекрасных и светлых людей довелось ей узнать в эти дни! Народ устал от царского произвола и с готовностью поддерживал тех, кто с оружием в руках дрался на баррикадах. Армия... Армия почти не поддерживала восставших. Московские полки и те не перешли на сторону народа. Работа в армии ведется плохо.

Землячка поднесла к лицу букетик подснежников, купленных у цветочницы на Страстном бульваре. Эти первые цветы с поникшими головками, с неправомерно большими желтоватыми сердцевинками, с остроконечными листьями будили в ней горькое и нежное чувство. Ей хотелось положить первые цветы после зимней непогоды на безымянные могилы. Сколько убитых, расстрелянных, замученных...

Она подняла голову и слушала звонкую капель. Капли падали тяжело, словно слезы. Сначала они сливались в робкие ручейки, ручейки эти подтачивали снежные насты. А затем, окрепшие и сильные, с кружением водоворотов уносили последние остатки суровой зимы.

— Батюшки светы, Наталья Юрьевна! — молодой и сильный голос вывел ее из задумчивости.

Землячка подняла глаза и увидела незнакомого человека. В богатой шубе на хорьковом меху, черные хвостики сразу бросились в глаза, в заломленной бобровой шапке, тонкое красивое лицо и такой знакомый голос. Профессиональный, поставленный. Да и манеры отменные. Впрочем, усматривалась в них какая-то нарочитая картинность.

— Наталья Юрьевна... Простите ради бога... Запамятовали? — У незнакомца изогнулась правая бровь, а глаза синие и глубокие полыхнули лукавством.

Землячка обладала прекрасной памятью на лица. И если бы не голос, могла бы утверждать, что никогда в жизни не видела этого человека. Наталья Юрьевна... Она даже оглянулась по сторонам. Нет, незнакомец обращался именно к ней. Он снял бобровую шапку, провел рукой по густым волосам, пытаясь заполнить неловкую паузу.

Она заставила себя протянуть руку и наклонила в приветствии голову.

— Нет и нет — не узнаёте! И не пытайтесь делать вид, что вы припомнили нашу встречу! В искусстве лицедейства у вас, голубушка, нет должного опыта, и меня, стреляного воробья, на мякине не проведешь! — Незнакомец с чувством пожал ее руку и взял со скамьи букетик подснежников.— Прелесть какая... Люблю подснежники. Вот уж поистине символизируют начало весны.

Как созвучны ее настроению оказались эти слова!..

— С вашего разрешения присяду...— Незнакомец постелил носовой платок на скамью и грузно опустился на нее, что плохо увязывалось с его легкой и грациозной манерой держаться.— Мы встречались с вами на николин день...

— Николин день? — приподняла брови Землячка.— Это в ноябре прошлого года?

— Два Николы — один с травой, другой с морозами. Никола вешний — лошадь откормит, Никола зимний — лошадь на двор загонит...

— Так Никола зимний? Значит, декабрь...

— Да, декабрь... И наш спор о баррикаде?

В его голосе прозвучало лукавство, да и сам он стал другим: подобрался, напружинился.

— Конечно, значительно позднее я понял, с кем имел честь вести спор.— И опять в голосе лукавство, в глазах хитринки, а лицо нарочито строгое.— И имя-то свое вы запамятовали. Наталья Юрьевна...

Землячка рассмеялась. Конечно, как это она сразу не узнала Садовского, известного актера, любимца публики, кумира молодежи.

...1905 год. Москва покрылась баррикадами. Она с трудом преодолевала сугробы на Тверской и оказалась возле Английского клуба. На кирпичных стенах серебрилась легкая изморозь. На мраморных львах, охранявших вход в клуб, огромные снежные шапки. Кто-то из остряков подвел львам черным углем глаза, и на их мраморных мордах застыло удивление. Явка оказалась проваленной, и она сама перетаскивала прокламации и воззвания Московского комитета партии.

На Тверской у дома генерал-губернатора Дубасова на всей проезжей части до памятника генералу Скобелеву стояли конные и пешие жандармы. Лошади, покрытые попонами, привязаны к фонарным столбам. Конечно, в иное время такого на Тверской, у дома генерал-губернатора, не допустили бы, но сейчас революция захлестывала город.

У жандармов на башлыках хлопья снега. За плечами болтались винтовки. Все это походило на военный лагерь. Дорогу перекрыли, и жандарм ругался с лихачом, направлявшимся к Страстному монастырю.

Из подъезда Елисеевского магазина в клубах морозного воздуха выплыли городовые и принялись цепочкой растягиваться вдоль Тверской.

Землячка боялась попасть в облаву — при ней прокламации и воззвания. До нее доносилась громкая ругань городовых с рабочими.

Она приняла надменный вид и проскочила оцепление.

На Тверском бульваре кричали пьяные лавочники и приказчики. В смушковых шапках, в сапогах с калошами, что считалось верхом благополучия, они размахивали белыми повязками и приставали к редким прохожим.

Черная сотня стягивалась к генерал-губернаторскому дому.

Пьяный приказчик с завитым чубом двинулся за ней. С ним в паре был другой, низкорослый.

Землячка прибавила шаг. Прижала муфту к груди. Попадать в историю ей не хотелось.

— А почему барынька нас сторонится? — Приказчик с завитым чубом подтолкнул плечом низкорослого дружка.

Ветер отнес непристойное ругательство. Не оборачиваться, не замечать.

Она миновала Английский клуб. У резной чугунной ограды какой-то господин натягивал лайковую перчатку. Землячка прибавила шаг, за спиной скрипел снег под сапогами преследователей. Господин резким движением отбросил папиросу, сделал несколько шагов в ее сторону и приподнял бобровую шапку. Решительно взял ее под руку. На холеном барском лице сердитое выражение. И повернулся к лавочникам.

— Что вам угодно, господа, от дамы? — В голосе барские требовательные нотки.

— Да мы что... Мы ничего...

«Молодец-то какой»,— восхитилась она.

— Значит, ничего... Так-с-с... Ну и идите своей дорогой! — Он откашлялся и громовым голосом заключил: — Не то я быстро сдам знакомому полицмейстеру в участок... Распустились, мерзавцы...

От них несло сивушным перегаром.

— Мы что? Мы ничего, ваше благородие...

— И учтите, милейшие, что не по годам бьют, а по бокам! — Господин расправил плечи и с высоты своего прекрасного роста рассматривал хулиганов.— Самим небось год с днем, а с дубинками на даму! — Он повернулся к Землячке, покрутил пальцем перед носом хулиганов.

Землячка почти успокоилась и только желала, чтобы ее неожиданный спаситель перестал читать нравоучения.

— Я тут, господа хорошие, каждую собаку знаю. Здесь рожден и чином не обделен. Попадетесь в другой раз, по Владимирке пущу вшей гноить на каторге...

— Да мы что? Мы, знать, ничего... Петруха, почто рассердился так барин? — Приказчик с завитым чубом пожимал плечами и искал поддержку дружка.

Господин поднес к его носу кулак. И повернулся к своей даме:

— Думаю, на сегодня хватит глаголить и лицедействовать. Ба, да у вас, дорогая моя, одна щека побелела! Отморозили, да право же отморозили!

Землячка провела рукой в шерстяной перчатке по щеке и почувствовала резкую боль. Она захватила пригоршню снега и попыталась растереть щеку. Но боль обожгла ее.

— Бог с вами! Что вы делаете? — Господин удержал ее руку.— Так и кожу можно содрать. Я приглашаю вас к себе домой. Здесь, за углом, в переулке Мамоновском, близ глазной больницы.

Она молчала, и только серые внимательные глаза были устремлены на собеседника. Решала, принять ли ей это предложение. В Москве неспокойно — поднялась вся черная сотня, да и в шпиках нет недостатка. Она направлялась на конспиративную квартиру на Садовую. С ней прокламации и воззвания. Там ее ждут. А если она попадет в облаву? Если ее задержат и начнут устанавливать личность? Если она станет жертвой самосуда на улице? Налетит пьяная орда и начнет куражиться. Да и замерзла она вконец — щеки отморозила. Пожалуй, приглашение следует принять. Отогреется, отсидится да и найдет способ, как отблагодарить за доброе участие! Правда, дел много... Вечно себя корит она за каждую минуту отдыха.

— Решайтесь, сударыня... И не мучайте себя сомнениями.— Он словно угадал ее мысли, мягко взял под руку и увлек за собой.

Дом Садовских утопал в снегу. Был он одноэтажный, с мезонином и парадным под резной крышей и навесом. Под снежной шапкой он выглядел приземистым. Около дома топтался дворник, посыпал крупным зернистым песком дорожку. Завидев барина с дамой, снял треух и поклонился. Садовский приветствовал его широкой улыбкой.

Она прошла в гостиную с мягкой мебелью, заваленную альбомами, портретами, висячими и настольными лампами. Как и в большинстве буржуазных домов, был здесь тот самый милый сердцу беспорядок, который говорил об отсутствии в доме мещанства.

Из соседней комнаты с лаем выкатилась болонка с красным бантом и, постояв на пороге, замахала куцым хвостом. Глаза ее были крупные, словно сливы. Она с добродушным удивлением уставилась на гостью. Болонка поднялась на задние лапки и принялась втягивать воздух. Ее вздернутый нос сморщился, и Землячка невольно улыбнулась. И эта улыбка обидела болонку. Она залилась громким лаем, смешно откатываясь назад. Глаза ее, умные и добрые, внимательно изучали гостью.

— Ну, Плюшка, довольно — полаяла и будет! — Хозяин бережно поднял ее и принялся увещевать: — Замолчи, а то сделаю из тебя стельку для комнатных туфель. В Москве-то какие холода стоят... То-то...

Плюшка обиженно замолчала и спрыгнула с его рук. Она поджала хвост и спряталась под кресло, на котором

сидела Землячка. Тяжело и громко вздохнула и улеглась, положив голову на короткие вытянутые лапки.

Землячка с трудом сохраняла серьезное выражение.

— Ничего... Мы скоро успокоимся! — Он взял серебряный колокольчик и позвонил: — Аннушка, самоварчик бы погорячее.

Маленькая, хрупкая женщина молча поставила на стол самовар. Он был тяжелый, с медалями, тульский. Взгромоздила на конфорку чайник с синими цветочками и прикрыла его салфеткой. Ее свободные и уверенные движения говорили о том, что в доме она живет давно. Уголками губ улыбнулась хозяину и ушла, пообещав принести булочки собственного изготовления. И действительно, вскоре на столе появились и булочки, и варенье, и сухарики, и всякого рода колбасы.

Хозяин явно гордился Аннушкой. Он похвалил ее, а та относилась к нему, словно к большому ребенку. Затем она взяла корзину с вязаньем и принялась что-то вязать спицами, бросая быстрые взгляды на обеденный стол.

Для Землячки после волнений и долгих скитаний по чужим квартирам такой надежный и приятный уклад был непривычен. Пожалуй, после ухода из родительского дома с ней ничего подобного не приключалось. Она все еще сидела у камина и растирала щеки осторожными движениями. Аннушка принесла нутряное сало. Острыми иголочками покалывало обмороженное место. В ее сторону Аннушка бросала тревожные взгляды. Землячка молчала и только здесь, в тишине и покое, куда она случайно попала, поняла, как чудовищно устала. И опять все понимающая Аннушка стянула с ее плеч жакет, который она не хотела снимать, ибо он был прошпигован нелегальщиной, уговорила расшнуровать высокие ботинки и долго удивлялась, как можно в такие лютые морозы носить их. И продолжала увещевать приятной скороговоркой, пересыпая речь прибаутками, которых знала превеликое множество.

До чаепития дело не дошло, как и до разговоров об искусстве.

Очнулась она в кресле, под ногами скамеечка, сама укрыта пледом верблюжьей шерсти. В столовой уже не шумел самовар, да и хозяина не оказалось за столом. Только Аннушка сидела у столика и завязывала новый носок из грубой шерсти.

Землячка молча старалась сообразить, что же такое

с ней приключилось и как она попала в этот чужой дом. Она забыла все — и встречу с охотнорядцами, и свои волнения, и боязнь ареста, и заступничество случайного господина, оказавшегося прославленным Садовским, и эту квартиру в Мамоновском переулке. Ей казалось, что она у себя дома, в Киеве. Сонно потирая глаза, сидит над вязанием нянюшка. Дрогнет тяжелая зеленая гардина, в комнату войдет ее матушка в лентах и чепце, пеньюаре с оборками. Запахнет знакомыми духами. Матушка возьмет ее за подбородок, поцелует в лоб и долго будет расспрашивать о здоровье. Она словно ощутила прикосновение мягкой ладони к своему лбу. И даже не удивилась, когда на столике оказался стакан молока и плюшка. Провела рукой по щеке, щека была мокрой. Чудеса.. Она не плакала, пожалуй, лет двадцать и даже не считала себя способной на это. Значит, слишком устала.

Она осторожно кашлянула и приподнялась на локтях.

— Пора, пора вставать, голубушка,— проговорила Аннушка.— Намаялась-то как, сердечная. И самовар заглох, и барин в театр уехал...

— Значит, села и уснула? — переспросила Землячка, с трудом расставаясь с верблюжьим пледом.— Хороша гостья!

Аннушка подняла очки на лоб, помешала щипцами угли в камине. Ровное оранжевое марево дрожало над углями. Аннушка подложила в печь поленца, срывая с них березовую кору. Кора закручивалась в тугие катушки, и они вспыхивали с оглушительным треском. И вот уже веселое бело-голубое пламя обволокло поленья, и причудливая пляска острых язычков захватила воображение Землячки.

Воспоминания обступили ее и стали такими явственными, что ей послышались родные голоса. Она редко виделась с матерью, редко могла поведать ей свои горести и трудности, да и жизнь ее доставляла матери одни огорчения, но одно чувство, что у нее есть матушка, которой она нужна счастливая и несчастная, наполняло сердце радостью и поддерживало в самые трудные минуты жизни. «Не случилось ли чего с матушкой? — вдруг испугалась она и почувствовала холодную испарину на лбу.— Жива ли? Не больна ли?» Последнее известие из Киева было таким давним. Жизнь в подполье, без твердого адреса, связь с домом случайная, чаще с оказией. Нужно придумать, как отослать домой письмо, и попросить, чтобы и ма-

тушка ответила самым подробнейшим образом. И опять перед глазами неровный почерк материнского письма, мелкие буквы с завитушками и наставления, наставления, которым она всегда придавала форму просьбы. И ей до боли захотелось в родной дом, к матушке. Пожаловаться на беды, которые обрушились на нее в последнее время. И неудачное замужество, и жизнь в подполье, и потеря товарищей, и арест тех, с кем она была в пятерке по руководству восстанием, и многое другое, что теснило ей грудь.

Аннушка смотрела и, казалось, понимала, что творится у нее в душе.

— Каждый раз, когда домовой в трубе свои песни заводит, все гложет меня мысль о сынке...— вдруг заговорила Аннушка, будто угадав ее мысли.— В солдатушках в Царстве Польском... А как там живут, и не знаю. Может, и куска недоедает, может, и кусок есть, да в горло не лезет...— Она вытерла концом фартука слезы, вздохнула: — Свет не без добрых людей — поди, и на чужбине кто-нибудь моего сынка пожалеет. Ешьте, ешьте, милая барынька. Видно, и ты горя хлебнула, коли от усталости падаешь.

Землячка молча кивнула. Оцепенение стало проходить. Она перестала следить за пляской огня в камине, испуганно провела рукой по потайным карманам жакета. Целы, слава богу! Встала, поправила рукой высокую прическу, почувствовала себя отдохнувшей и даже успокоившейся.

Аннушка подкрутила фитиль, и в комнате стало совсем светло. Сделалось уютнее и покойнее. И опять зашумел самовар. На тарелке, которую Аннушка молча поставила перед гостьей, была горка разваренной крупитчатой гречневой каши с жареным луком и свиной поджаркой. «Молодец, Аннушка, знает, чем накормить, не воздушными плюшками, а кашей, да с салом»,— умилилась Землячка и за многие дни почувствовала, как она голодна.

Она съела кашу, запила ее горячим молоком и засмеялась. На мягком кресле лежал огромный черный кот с зелеными круглыми глазами и сладко зевал. Рядом с ним, вернее, прижавшись к нему, спала та самая болонка, которая так неприветливо встретила гостью. Болонка положила голову на спину кота и круглыми немигающими глазами уставилась на гостью.

«Удивительный дом»,— не без восхищения подумала Землячка.

Прошло три месяца, и она неожиданным образом встречает в проходном дворе на Кисловке хозяина того удивительного дома. Значит, счастливое предзнаменование.

— Что же вы, Наталья Юрьевна...— Садовский комично развел руками.— Да вы, голубушка, и сами-то запамятовали, как вас в то время звали-величали, вот какая оказия приключилась... Я тогда вернулся из театра, а вас и след простыл. Аннушка сидит такая просветленная и все о вас говорит. Она-то и догадалась, что вы из беглых.— Садовский изучающе поднял брови.— Прошу прощения, но так Аннушка и изволила тогда выразиться: «Барынька из беглых».

Землячка покрутила головой — так ее еще никогда не называли. Беглая...

— Как поживает ваша чудесная Аннушка? — В голосе ее было столько теплоты, что Садовский улыбнулся.

— Аннушка — это настоящий русский характер: и добрая, и жертвенная, и всепрощающая, и всепонимающая, и гордая... Ее сама Ермолова побаивается. Приходит к нам в дом и часами сидит и слушает Аннушку — душу народную постигает...

Потянул ветерок, и на солнце надвинулось облако. И сразу утихли снегири, и капель перестала бить с таким озорством.

— Кстати, я нескольно раз вспоминал вас, когда баррикады, как эпидемия, охватили матушку-Москву. Вам, конечно, будет приятно, но Аннушка каждый раз ставила на окно своей комнаты зажженную лампу.

— Лампу? Зажженную?

— Да-с, именно зажженную. Ей казалось, что вы скрываетесь где-то ночами от воров да разбойников и должны знать, что в этом доме вас всегда пригреют. Большое сердце у этой русской женщины! — Садовский говорил с некоторым пафосом, и все же было заметно по волнению и едва приметной дрожи в голосе, что он восхищается своей Аннушкой.— А вы знаете, эта самая Аннушка за три рубля заставила передвинуть баррикаду.

— Что значит передвинуть баррикаду? И при чем здесь три рубля?

— Не сердитесь, дорогая. В жизни серьезное всегда рядом со смешным. В нашем тишайшем Мамоновском переулке вдруг поднялся невообразимый грохот. Это было через неделю после вашего посещения. Я работал над ролью.

И Аннушка знает, что я шума не переношу. Плюшка подняла чудовищный лай, кот Василий опрокинул молоко — в доме поднялся тарарам. Горничная в это самое время на подносе принесла письма. Девушку взяли в дом от купца Курникова, там она и научилась этим хорошим манерам. Но как она в нашем хаотичном доме смогла разыскать этот серебряный поднос? Я просматриваю письма и никак не могу подавить раздражения. Шум мешает мне сосредоточиться. Аннушка сметает пыль с мебели. Наконец я не выдерживаю. Поднос летит в разбойника-кота, и я, словно на сцене, гремлю во весь голос: «Что там происходит на улице?» Горничная впервые видит меня в таком состоянии, бледнеет и бесшумно исчезает. «Барин, эти люди говорят, что они строят баррикаду». Руки ее теребят накрахмаленный фартук. «Баррикаду? Какую еще баррикаду?» — «Именно так и сказали мне — баррикаду...» Я хватаюсь за телефон и хочу позвонить градоначальнику — баррикада у моего дома? Аннушка отстраняет меня от телефона. «Полноте блажить, барин, губернатору звонить выдумали, еще казаков попросите, чтобы дом охраняли, как купцы делают. Потом сами себе места от стыдобища такого не сыщете».— «А вы хотите, чтобы смутьяны растащили бы весь дом? Сейчас они сломают забор, вывернут фонарные столбы, следом пожалуют солдаты...» — «Так баррикаду строят же люди, барин».— «Так что из того?» — «А раз люди, так с ними можно всегда договориться. Давайте мне трешку».— «Трешку?» — переспросил я. «Трешку хватит им, трешку...» И Аннушка уже натягивала на голову платок, отшвырнула серебряный поднос, который каким-то образом оказался у нее в руках, и хлопнула дверью. Я к окну. Рабочие окружили мою Аннушку, а она размахивает руками. Говорит им что-то смешное, это видно по лицам мастеровых, показывает в мою сторону и что-то объясняет. Затем следует громкий взрыв смеха, Аннушка сует кому-то в руки трешку и сама начинает помогать оттаскивать бревна. В общем, она передвинула баррикаду метров на тридцать. Пришла довольная, улыбается. «Что же вы им сказали, Аннушка?» — не утерпел я. «Да просто рассказала, что стрельба мешать будет вам учить роли, денег у вас мало, в театре вы про нашу жизнь все представляете, и дом ваш разбивать никак невозможно. Потом дала им от вашего имени три рублика на водку... С русским человеком завсегда, барин, договориться можно».— Садовский смеял-

ся, достал клетчатый платок и вытирал им слезы.— Вот какая Аннушка живет в моем доме на Мамоновском.

Землячка тоже смеялась. Действительно, смешно все приключилось.

— Такая Аннушка все может.— Землячка поднялась и протянула Садовскому руку.— Непременно кланяйтесь вашей Аннушке и пожелайте ей добра. Коли все будет хорошо,— в голосе ее такая неуверенность, что Садовский внимательно заглядывает ей в глаза,— коли все будет хорошо, то непременно заверну вечерком...

Только выполнить свое обещание ей не пришлось. Этим же днем ее арестовали... На квартире доктора Калантарова, которая использовалась в исключительных случаях, взяли всех участников конференции военной социал-демократической организации. Взяли ее на этот раз под фамилией Осмоловская. Жандармский офицер, производивший арест, долго вертел в руках паспорт и саркастически улыбался. Взяли и Емельяна Ярославского... Отобрали протоколы заседаний. Кто провалил конференцию? Случай ли... Этого Землячка не знала. При мысли, что кто-то из товарищей мог оказаться предателем, у нее начинало биться сердце, выступала противная испарина. Она запрещала себе думать об этом. Разочарование в товарищах — с ними она делила опасности, лишения, последний кусок хлеба, немногие радости — доставляло такую боль, что и передать было невозможно.

Вначале их доставили в полицейскую часть, что была напротив дома генерал-губернатора, потом перевезли в Сущевскую полицейскую часть на Селезневку.

Семь шагов в длину, четыре в ширину, массивная, обитая железом дверь с глазком, низкий кирпичный потолок со сводами. Оконце с поржавевшими решетками и скосами вместо подоконников во избежание возможных побегов. Пол из каменных плит, от которого несет холодом.

В камере полумрак. Проскрипела за спиной железная дверь. Жизнь осталась по ту сторону. В который уж раз!

У нее всегда было плохое зрение, и она, держась за липкую стену, сделала несколько шагов вниз по ступенькам, стертым и скользким от сырости. Возможно, она и упала, если бы кто-то не поддержал ее. К великому своему удивлению, она узнала Татьяну, сестру Емельяна Ярославского.

— Где Емельян? Взяли вместе? — Татьяна усадила

ее на койку и молчала, давая возможность освоиться с полумраком, царившим в камере.

— Наверняка сюда привезли. Я это поняла по разговорам жандармов. Правда, меня везли одну. Дежурный очень торопил, говорил, что и мужчин нужно доставить сюда же...— Землячка зябко передернула плечами: — Как здесь? Сносно?

— Пока сносно. Все зависит, с чем вас взяли. Чистыми?

— Какой там чистыми! Дело раздуют — военная организация... Могут и военному суду предать.— Землячка осмотрелась: — Российские тюрьмы... Даже трудно себе представить, что такое бывает. Потом как-то привыкаешь, но первые часы... Хорошо, что я здесь тебя встретила.

— Ну, устраивайся...— Татьяна не решилась назвать ее по имени, не знала подробностей ареста и, помолчав, сказала: — Устраивайся... После чая поговорим... Его здесь в пять разносят. Кстати, пачку чая не прихватила?

В голосе такая надежда, что Землячка рассмеялась. И с огорчением покачала головой: откуда — арест-то внезапный.

Татьяна отошла к окну и принялась читать, используя полосу света с танцующими пылинками, падавшего отвесно.

Только теперь Землячка могла, наконец, подумать о том, что же произошло. Она все еще была во власти споров, принесенных с воли. Главное, узнать, кто предал охранке участников конференции, какими материалами они располагают. Как широко разверзлась пропасть: то ли это полынья, расползающаяся под напором солнечных лучей, то ли трещина, которую стянут новые морозы. Значит, нужна информация. Нужно установить связь с Емельяном, через него наладить связь с волей, лучше всего с Лидочкой Катениной и с Московским комитетом... Надо действовать. И главное, не допустить дело до суда.

Суд ей не нужен — начнется следствие, доберутся и до московского восстания. А тогда в лучшем случае каторга... Баррикадные бои, аресты, судебные процессы обескровили партию, теперь каждый человек на счету, и тут новый арест... Она не имеет права терять время на следствие и суды, на долгий отрыв от работы, на болезнь... Все это — непозволительная роскошь...

Татьяна захлопнула книгу, подошла к ее койке.

— К сожалению, прогулки здесь раздельные, сначала гуляют мужчины. Они идут по кругу, а в центре старший надзиратель, потом выводят женщин. Записку удается передать с большим трудом — лучше через окно.

Землячка кивнула. Татьяна без слов поняла ее и закрыла глазок у двери головой. Землячка принялась выстукивать. Стучала быстро и уверенно. «Практика-то какая»,— не без восхищения подумала Татьяна.

Трижды принималась стучать Землячка. Стена молчала — там могли быть новички, которые не усвоили азбуку, или камера была пустой. Она перешла к противоположной стене и вновь принялась стучать. И сразу же стена ожила беспорядочными глухими ударами. Не повезло — за стеной уголовные. Что ж? Терпение. Придется ждать!

Землячка прилегла на койку и укрыла ноги солдатским одеялом. Она испытала такое чувство, когда на человека холод обрушивается лавиной, леденит сердце, до боли сводит руки, крутит ноги и перехватывает дыхание.

В тюрьме она не в первый раз, да и, наверно, не в последний. Может выплыть ее участие в пятерке по руководству вооруженным восстанием, баррикада на Шаболовке, явки и документы, которые она тогда доставила, чтобы помочь дружинникам уйти в подполье.

Воспоминания нахлынули на нее. Пожары в городе, воронье, растревоженное артиллерийскими разрывами. Горела Пресня, там Литвин-Седой вместе с дружинниками фабрики Шмита давал бой. Пресню отрезали от города войска Мина и Римана. Но Пресня держалась. И еще держалась баррикада на Шаболовке. Вот на эту баррикаду Землячке и нужно было пробраться, чтобы передать воззвание Московского комитета партии о прекращении вооруженного сопротивления. На всех перекрестках стояли военные патрули. Рабочих обыскивали, устраивали ловушки и мешки в проходных дворах. Если обнаруживали оружие — расстреливали на месте без суда и следствия.

И она решилась. Взяла с собой Лядова, члена Московского комитета партии, и Савельева, дружинника с завода Гужон. Лядова нарядили в барскую шубу с бобровым воротником. Белое шелковое кашне и бобровую шапку. Он должен был изображать действительного статского советника, вынужденного из-за беспорядков отправиться с кухаркой за провизией. Савельев сел за лихача. Сани летели по Садовому кольцу, минуя сугробы и дома с за-

крытыми ставнями, редких прохожих, прижимавшихся к заборам. Темнели окнами выгоревшие трактиры, магазины с разбитыми витринами, вывороченные уличные столбы, опрокинутые трамваи, телеги и пролетки, у которых ветер крутил колеса. Она устроилась на заднем сиденье. Закуталась в теплый платок, в последний момент натянула красные рукавички. Откуда они взялись, она и теперь не могла вспомнить. В руках корзина. Большая, просторная. На дне ее — явки, листовки, воззвания, несколько браунингов и фальшивые паспорта. Долго не могла решиться прокатиться с таким грузом по Москве. Но это было необходимо. Кто-то это должен был сделать. Кто-то? Почему не она? Лядов весьма неодобрительно относился к ее затее — пробраться на баррикаду, когда Москва на чрезвычайном положении, когда первопрестольная перенасыщена карателями. Но отпустить ее одну он также не мог, вот и пришлось изображать из себя барина, недовольного беспорядками. Перед самым уходом она водрузила в корзину двух гусей. Обыкновенных гусей. С красными бусинками вместо глаз. И связанными крыльями. На морозе гусаки притихли и сидели важные, с распушенными перьями. На перекрестке Кудринки и Садового кольца их остановили. Барину приказали выйти из санок, обыскали лихача, потыркали штыком по сиденью. Барин, презрительно оттопырив нижнюю губу, возмущался беспорядками, которые честным людям спокойно жить не дают. Сетовал он и на продовольственные затруднения, которые заставили его, действительного статского советника, самолично-с разъезжать по Москве с кухаркой в поисках провизии. Барин косил глаза на офицера, нервно постукивающего один сапог о другой. Был сильный мороз. Она и сама не могла понять, то ли она леденела от холода, то ли от нервного напряжения. Гусаки удивленно таращили глаза, сидели притихшие. У Лядова солдаты выворачивали карманы. Лядов кричал что-то о поругании дворянского достоинства. Офицер устало отмахивался, глядел на него с сожалением. В такие-то дни морочить голову ему, боевому офицеру, разглагольствованиями о дворянском достоинстве, когда бунтовщики за каждым углом, когда стреляет любая подворотня. Землячка не вылезала из саней. Сидела с глуповатой ухмылкой, прижимая к груди корзину. Солдат, с лицом, закрытым башлыком, на бровях и ресницах иней, попытался было

обыскать и ее, но она подняла такой крик, что офицер устало махнул рукой. Приказал грубым, осипшим голосом: «Бабу не трогать!»

Лядов с проклятиями усаживался в сани и долго ворчал, поднимая воротник шубы. Землячка потом говорила: «Хорошо, что послушались меня и не начинили себя нелегальщиной. Женщине всегда больше веры. Странно, что барская шуба не вызывала никакого доверия у господ офицеров». И, довольная, смеялась: на конспиративной квартире Лядов не соглашался ехать по Москве пустым. Думал, что барский облик будет ему защитой. Но как ни странно, ее спасли гуси. Это было близ Шаболовки. Остановки становились все более частыми, обыски все более тщательными. В последний раз офицер едва ли не самолично обыскивал Лядова, да и солдат попался старательный. У Лядова вывернули не только карманы шубы, но и сюртука. Солдат хотел было высадить Землячку, чтобы проверить содержимое корзины, но гусаки подняли такой крик и гогот, так размахались крыльями, устав от долгого сиденья, что он отступил. Ругнулся да подивился ее дурости...

Как-то теперь живет Лядов? Хороший и отважный оказался он друг. Так и видела она его в барской шубе с задранными полами, когда перебирался через баррикаду на Шаболовке.

Землячка перевернулась на другой бок, преодолевая отвращение, натянула одеяло под самый подбородок. Одеяло все было искусано мышами, в ржавых пятнах и сохраняло тот специфический запах карболки и затхлости, который имела только одна тюрьма.

Татьяна набросила поверх беличий жакет. Землячка отхлебнула несколько глотков молока, поставленного на табуретку Татьяной. Подивилась — молоко в тюрьме! И закрыла глаза, чувствуя, как приятная теплота разливается по телу.

И опять мысли ее ворошили прошлое. Шанцер... Шанцер был ее большим другом. Мягкий, добрый, интеллигентный по природе, он проявлял удивительную непримиримость, сталкиваясь с меньшевиками. Шанцера арестовали вместе с Васильевым-Южиным в первый день восстания — седьмого декабря 1905 года.

В те дни радости и народного ликования известие об их аресте показалось до нелепости неправдоподобным.

Она направлялась в Замоскворечье после заседания пятерки. Пятерка — это Владимирский, Лядов, Шанцер, Васильев-Южин и она, Розалия Землячка. Пятерка, избранная на конференции в училище Фидлера. Настроение было праздничное — началось восстание! Заседали недолго, дел невпроворот. Шанцер направлялся уговаривать меньшевиков. К сожалению, Николаевская железная дорога оказалась в их руках. Они не дали согласие участвовать в восстании. Шанцер вместе с Васильевым-Южиным собирался на заседание коалиционного комитета, чтобы заставить меньшевиков примкнуть к восстанию. В этом случае бы прервалась связь с Петербургом, и генерал-губернатор Дубасов не получил бы подкрепления войсками. Ни Шанцеру, ни Васильеву-Южину идти на разговоры с меньшевиками не хотелось. Они жаждали живого дела да и в разговоры-то не очень верили. Совещание происходило в квартире мелкого чиновника и оказалось, как и предполагал Шанцер, долгим и бесполезным. Меньшевики пугали кровопролитием, кричали, что и сил мало, и оружия нет. Марат горячился, нервно пощипывал бородку, потом поспешно надевал очки в железной оправе, словно желая получше разглядеть собеседника. Эсеры, которые так же присутствовали на заседании, стояли за террор и ни в какие дискуссии не вступали. Они быстро ушли с совещания. Шанцер принялся натягивать пальто, но в дверь постучали. Ворвалась полиция, и сразу же окружили Шанцера и Васильева-Южина. Их хорошо знали в лицо. Шанцер носил в каждом кармане по револьверу. Этому была своя причина. Оратором он был страстным, недаром имел партийную кличку «Марат». Однажды во время выступления он так увлекся, что не заметил, как у него из кармана вытащили револьвер. С тех пор он и носил в каждом кармане по револьверу.

И здесь, в камере Сущевской полицейской части, она все время думала об их аресте, как пыталась установить с ними связь и организовать побег...

Землячка встала, подошла к окну и стала рассматривать клочок неба. Серый, нахмуренный. Нет, здесь не дождаться солнечных дней! Она закуталась в шерстяной платок — Татьяна обжилась в камере и оказалась запасливой. Ныла грудь, и болезненный кашель сотрясал ее. Туберкулез она нажила в Киевской тюрьме. Татьяна мягким движением привлекла ее к себе. «Обойдется... Обой-

дется...» — шептала Землячка, комкая в руке носовой платок с яркими бусинками крови.

Тюремные дни похожи один на другой, как стертые монеты. Камера сырая, полутемная — и кабинет следователя, залитый солнцем. Громоздкая машина правосудия приведена в движение. Распухали папки судебных дел, допросы, очные ставки, на которых друзья не узнавали друг друга. Как она не любила этого лицемерия, как хотелось открыто бросить вызов! Но кого этим удивишь? Она не одна, вместе с ней взяты товарищи, интересы дела превыше всего. Значит, нужно выиграть время, бороться до последнего вздоха.

Землячка осунулась и побледнела за это время. Если бы не Татьяна, оказавшаяся заботливой сиделкой, то ей пришлось бы плохо. Сегодняшний допрос продолжался двенадцать часов. Ее взяли в восемь вечера и провели по дворику, под бой часов. Восемь ударов. Восемь! Поеживаясь от утренней свежести, она с удивлением смотрела на капли росы на кустиках травы и листьях кустарника. Двенадцать часов! Двенадцать часов нечеловеческого напряжения, битвы с умным и коварным врагом, вынужденного молчания и святой неправды. Необходимо было понять, что известно следствию.

Ее посадили и направили прямо в лицо яркий свет. После полутемной камеры это невозможно было выдержать. Она чувствовала, как по лицу ее катятся слезы. Она не смахивала их, чтобы не привлекать внимания следователя. Да и он понимал, что это не слезы малодушия. Ее засыпали вопросами то вежливыми и вкрадчивыми, то резкими и оскорбительными. Она сидела с непроницаемым видом и молчала. Обезоруживала его то едким словом, то смехом.

Наконец следователь, немолодой человек, с умным и злым лицом, не выдержал:

— Оставим все препирательства! Знал, что с вами придется нелегко, но всей трудности не мог представить. Отправляю вас в камеру и предупреждаю, что вынужден лишить вас прогулок и передач, как и права выписывать продукты из тюремной лавки. Вынужден...— И, помолчав, добавил: — Знаю, что вы больны туберкулезом... Посидите в камере и все хорошенько обдумайте...

Все хорошенько обдумайте... Жизнь свою она определила давно. Много на ее пути было бед и невзгод, труд-

ностей и лишений. Но на путь этот она вступила сознательно, смысл ее жизни был в борьбе. Другой путь она не могла избрать.

Да разве она одна? С каждым днем таких одержимых все больше. И силы их подобны урагану.

Бауман... Какую прекрасную и короткую жизнь он прожил! Они встречались и за границей, и в московском подполье. После октябрьского манифеста 1905 года Бауман вышел из Таганской тюрьмы. Весь светился, когда ворвался на заседание Московского комитета партии. Заседание происходило в Высшем техническом училище. Быстро кивнул друзьям и потребовал, чтобы заседание прекратили. В Москве готовилась манифестация, с улицы доносился гул голосов. Она, обрадованная неожиданной встречей, закрыла заседание и, зараженная его радостью, тоже вышла на улицу. Улица в тот день была такой необычной... Флаги. Кумачовые полотнища. Радостные лица. Шмитовские дружинники в кожаных кепи. Николай Шмит, счастливый и смущенный, отличавшийся редкостной застенчивостью, приветливо поднял руку. Бауман нырнул в толпу, как альбатрос перед бурей. Его узнавали, ему что-то кричали, и она потеряла его из виду. Эти дни октябрьского манифеста и первой свободы, вырванные у царизма, пьянили. И ее увлек людской водоворот, ее теребили, требовали каких-то решений, слов. И еще раз она увидела Баумана с красным знаменем в руках. На пролетке у фабрики Шапова. Рабочие сгрудились у ворот и не присоединялись к демонстрантам. Бауман задумал их сагитировать. Сдернул шапку, подался вперед... И упал... Она не сразу поняла, что произошло. Услышала выстрел, заглушенный гулом голосов. Стрелял кто-то из дружинников. Мимо нее пронесли мертвого Баумана. Его убил черносотенец, убил куском трубы. Значит, охранка все время следила за ним.

Баумана пронесли в комнату, где совсем еще недавно происходило заседание. Она долго стояла в оцепенении, зажав руки и подавляя рыдания. Она увидела, как плакал Шанцер. На красное полотнище положили тело. Ему прикрыли глаза, и лицо его стало непривычно серьезным. Зал заполнили рабочие и дружинники. Шествие к Таганской тюрьме прекратили. Как хотелось Бауману освободить своих товарищей из Таганской тюрьмы!

Три дня прощалась рабочая Москва со своим товарищем. Землячка осунулась и постарела, она плохо пони-

мала вопросы, с которыми обращались к ней, секретарю Московского комитета партии. В зал входили все новые и новые делегации. Венки, увитые черным крепом, стяги, золотые осенние букеты. У гроба все время происходили траурные митинги. Но вот наступила тишина. Дружинники и рабочие опустились на колени. И на Землячку упали первые слова клятвы:

— Жить и бороться, как Бауман... Быть преданным революции, как Бауман... Встретить последний час, как Бауман...

И она побелевшими губами вместе со всеми повторяла слова клятвы. Рядом стоял Шмит. Его тонкое лицо было печальнее обычного. Он также шептал слова клятвы.

Она поднялась с колен и крепко расцеловала Шанцера... Вместе с дружинниками Шмита она ночами охраняла гроб Баумана. Охранка готовила налет на Высшее техническое училище, чтобы выкрасть тело Баумана. Он даже мертвый страшил врагов. Она терла покрасневшие от бессонницы глаза и все смотрела и смотрела на гроб. На ее плечо легла чья-то рука. Она оглянулась и встретилась взглядом со Шмитом. Лицо его было трагичным... Он не признавал насилия. Убили его друга. Сломали его представление о жизни подлым убийством из-за угла. Он что-то хотел сказать, но губы его скривились в болезненной гримасе.

И опять лицо Шмита. Горестное и растерянное. На гражданских похоронах. Вместе с дружинниками он идет в оцеплении, охраняя гроб Баумана от налета черносотенцев. В кожанке, с маузером на ремне. Временами он оборачивался на гроб, утопавший в цветах, вслушивался в рыдающие звуки оркестра, замедлял шаг и, не веря в случившееся, встряхивал крупной головой.

Землячка закутала ноги жакетом Татьяны. Ночами в камере становилось особенно сыро. Холодом дышали камни пола. Слышно было, как скреблись крысы да перекликались часовые на караульной вышке.

Допросы и раздумья... Раздумья и допросы... День за днем проходит в битве со следователем. Конечно, долго в Сущевском участке ее не продержат. Но из участка легче бежать. В Бутырке, куда ее переведут после завершения следствия, побег будет намного сложнее.

О чем бы она ни думала, о чем бы ни говорила, мысли ее возвращались к побегу. Ведь бежал же Бауман

из Лукьяновской Киевской тюрьмы, там она сидела дважды. Настоящий бастион. И все же нет невозможного для человека, поставил себе цель — бежать...

Ее арестовали с паспортом мещанки Марии Казимировны Осмоловской, вдовы коллежского регистратора. К несчастью, в Могилеве оказалась здравствующая вдова Осмоловская, старушка семидесяти пяти лет. Следователь долго хохотал, когда предъявил ей карточку Марии Казимировны. В капоре, с ввалившимся ртом и бесцветными глазами. Особенно потрясли ее ленты на капоре, тщательно отглаженные и завязанные бантиками. Действительно смешно. Эти ленты преследовали ее в коротком и тревожном сне.

ВСТРЕЧА С КАТЕНИНОЙ

И все же связь с товарищами, столь долгожданную связь, удалось установить. Наладил ее Емельян Ярославский через дежурного надзирателя. Тот закладывал записку в котелок с кашей и старательно показывал на этот котелок глазами, боясь, что она его не поймет. Надзиратель был из молодых, недавно приехал из деревни в город на заработки. К арестантам он относился с известным смирением, характерным для простого народа. Он и последний пятак отдаст, и копеечную свечку поставит за заблудшую душу, и слезу смахнет при виде колодников. Политикой он не интересовался и не понимал, как за какие-то там слова можно человека посадить в тюрьму. Все заключенные были для него убивцами или ночными разбойниками, и всех их, по его убеждению, ждала пеньковая веревка или Владимирка. Он жалел их, старался исполнить их волю, казавшуюся ему последней. В тюрьме кашу, по обыкновению, варили крутой. Она напоминала охотничью дробь и была для еды непригодной. От Землячки надзиратель записки не принимал, испуганно пятился и крестился. Связь невольно стала односторонней. Ярославский, как она понимала по запискам, готовил побег, предостерегал, что он будет невозможен при переводе в Бутырку, и очень тревожился о ее состоянии здоровья.

И еще была одна радость. Она установила связь с Московским комитетом партии. Связь эту осуществляла ее давняя подруга Лидочка Катенина. На свидании она не сразу ее признала в чопорной даме, затянутой в корсет,

в модной шляпке с красным перышком, в лайковых перчатках, говорившей на отличном французском языке и брезгливо отодвигавшейся от надзирателя с подозрительно красным носом. Лидочка с пренебрежением смотрела на надзирателя, подносила надушенный платок к носу, когда тот, дыша винным перегаром, пытался делать ей замечания. Свиданная комната в участке не была разгорожена решеткой. Можно было вместе посидеть и спокойно поговорить. Надзиратель долго ворчал, напоминая о пунктах инструкции, запрещавших разговоры, непонятные представителю власти. Лидочка сунула ему трешку, и надзиратель успокоился. С болью и тревогой всматривалась она в лицо Землячки. Да, конечно, она сильно сдала за эти недели. Лидочка передала ей партийные новости, рассказала о товарищах: кто в тюрьме, кто в таком глубоком подполье, что практически лишен возможности действовать. И опять в глазах Лидочки она читала одно решение, один выход из сложившейся ситуации — побег. Да, только побег мог освободить ее от всего. И при расставании скорбно добавила: «Один нос да глаза остались...» Землячка рассмеялась и поняла, что побег поставлен в повестку дня. Лидочку она озадачила, попросив доставить в камеру шляпу, перчатки и вуаль. Лидочка, привыкшая ничему не удивляться, на этот раз даже переспросила. Она пообещала прийти в ближайшую среду и ушла, оставляя за собой запах французских духов. Надзиратель, вздыхая, повел Землячку в ее камеру. Он бряцал тюремным ключом о медную пряжку ремня, предупреждая о нежелательных встречах.

Эту ночь она не спала. Думала и взвешивала каждую деталь побега. Он должен быть смелым и неожиданным.

Связь с Ярославским стала регулярной. Он начал давать надзирателю деньги. Как-то они встретились в приемной у следователя Миронова. Ярославского выводили из кабинета, а она ждала разрешения войти. Следователь не рассчитал время. Она увидела, как быстро спрятал он в своих глазах радость, каким озабоченным и тревожным стал его взгляд. Уж эти тюремные встречи, когда товарищу ни руки-то протянуть, ни приободрить взглядом. И все же на этот раз им удалось обменяться взглядом, полным скрытой радости.

Ярославский просил деньги, пилку и паспорта с надежными явками. Он задумал групповой побег. Катенина

окончательно утвердилась в качестве кузины, приехавшей из Киева. И Миронов, уговаривая ее подействовать на кузину, обещал облегчить ей участь. Болезнь прогрессировала — сырость, отсутствие свежего воздуха, плохое питание делали свое дело. Она все чаще задыхалась от болезненного кашля.

С тоской смотрела она на яркое синее небо с плывущими облаками, радовалась солнцу и пению птиц.

Уходила зима. Дни становились длиннее, солнце все ярче и пение птиц оглушительнее. Пришла весна. По железному навесу била весенняя капель.

Организацию побега Ярославского она взяла на себя. План был такой: воспользоваться пасхальной неделей. Полицейский участок, как всегда, завалили передачами добросердечные обыватели и купцы. Начальство разъехалось. Надзиратели, довольные отсутствием начальства, пьянствовали и делали всяческие послабления арестантам. Лидия Катенина тратила последние деньги и стала щедрой жертвовательницей. Усердствовал и купец Анучин. Он возвратился из святых мест и пытался проникнуть в Бутырскую тюрьму, где сидел его сын, из политических. Купца к сыну не пустили. Тогда он в отместку решил завалить Сущевский участок различными яствами, чтобы тем, в Бутырке, стало завидно. Землячка видела не одну четверть водки, которую приказчик Анучина с напомаженным чубом торжественно взгромождал в канцелярии на стол. Она как раз оказалась там, ее вызвали, чтобы вручить письмо от матушки.

Купец Анучин ввалился и к ним в камеру. В руках он держал кульки с пряниками, жамками да дешевенькие образки божьей матери, якобы привезенные из дальних мест. Заплетавшимся пьяным языком он попытался наставить их на путь истинный, но, встретив ироничный и холодный взгляд Землячки, ретировался, поддерживаемый надзирателем. Надзиратель сам с трудом ворочал языком. Он попытался затянуть молитву, но не мог вспомнить слов. Сконфуженно почесал себя за ухом и пропустил купца впереди себя. Он долго возился с ключом, тот его плохо слушался, потом ругательски ругал стриженных барынек, которые, кроме крамолы и смуты, ничего не несут людям.

Пасхальная передача дошла и до камеры Землячки. Тот же самый надзиратель после перепоя в строгом смире-

нии ввалился к ним, нагруженный кульками, картонками и газетами. Значит, офицера, просматривавшего передачи, в канцелярии не было. Он водрузил на стол пасхальный кулич, завязанный белым платком. Она знала, там, в куличе, запечена пилка. Этой пилкой Ярославский должен был снять решетку в камере. В нижней части кулича должны быть паспорт и явки. Действительно, кулич поражал своими размерами. Пышный. Огромный. С красными цветами и глазурью. Она отрезала кусок кулича для разговления. Остальное переслала в камеру номер пять. Там сидел Ярославский. Это понравилось надзирателю. Славно все, по-христиански.

И новое осложнение — Ярославский плохо ориентировался в нескончаемых марьинских переулочках, тупичках. Они могли запутать и старожилов. Ярославский, не будучи уроженцем Москвы, этих мест не знал. Катенина обещала попросить кого-то из студентов-землемеров снять план. Но это требовало и времени и осторожности.

Пасху, украшенную цветами, оставила себе. Знала, что там письмо от Катениной.

Надзиратель с красными от пьянства глазами и опухшим лицом, позевывая и прикрывая рот рукой, принял корзину, испытывая удовольствие от звона пивных бутылок, и, кивнув на прощание, вышел.

Землячка, слух которой обострялся в тюремном заключении, долго слышала его гулкие шаги. Взвизгнув, отворилась дверь в конце коридора. Взметнулся под гулкие своды крик, то ли радости, то ли отчаяния, и все стихло.

Землячка извлекла письмо Катениной, завернутое в пергаментную бумагу. План окрестностей все еще был не готов. Лидочка передаст его в следующий день. Она установила добрые отношения с тюремной администрацией, завалила участок вином и водкой, встречалась с купцом Курниковым, магазин которого находился рядом с Сущевской полицейской частью, тот кичился богатством и читал проповеди, как надо жить. С таким союзником приходилось иметь дело! План побега, придуманный Землячкой, она одобрила. Правда, не советовала ей бежать одновременно с группой Ярославского. Значит, отложить побег? Ее интересы все-таки на втором плане.

Землячка за эти дни подобралась и стала лучше себя чувствовать. Она не раз замечала: как только речь шла о реальном деле, она становилась бодрее и сильнее.

Значит, ее побег будет частью общего побега политических из Сущевской полицейской части. Пилкой снимут решетки в камере Ярославского. План, который передаст Катенина, даст возможность им ориентироваться. Надзирателей напоят до мертвецкого состояния, и ей останется каким-то образом очутиться в камере Ярославского. Легко сказать: проникнуть в мужскую камеру! Правда, камера эта расположена в одном коридоре. Но каким образом попасть туда.

Теперь ее жизнь стала наполненной и осмысленной. Появилась цель — бежать вместе с товарищами, взятыми вместе с ней на Всероссийском совещании.

Новая передача от Катениной. На этот раз жареная утка с хрустящей корочкой. Как она напомнила ей родной дом, матушку и прогулки по Крещатику в пасхальные дни. Что же с матушкой? Сестра писала в письмах, что матушка сильно начала прихварывать, сердце сдавало да и бесконечные волнения не проходили даром. Розалия ушла из дома, когда ей было семнадцать лет. За ней братья, сестра Маня. Отец — купец первой гильдии, а дети из тюрем не выходят. Но что она могла поделать? Она жалела матушку, но принципы и убеждения были превыше всего.

Через окно лились мягкие звуки старинной мелодии. Она встрепенулась, подняла голову. Да, скрипка. Шуман, любимый Шуман. Кто-то широким и могучим движением выводил грустную и задумчивую мелодию. Мелодия ширилась и крепла, пробуждая неясную тревогу в сердце. Послышался громкий аккорд. Скрипка заплакала жалуясь и убаюкивая, словно мать пела тоскливую песню над колыбелью. И опять кто-то властной рукой сорвал заключительный аккорд. Скрипка умолкла. Интересно, кто это играл? Землячка в задумчивости стояла у окна. Скрипка... Звуки скрипки послужили сигналами для Кропоткина, когда он бежал из тюрьмы средь бела дня. Скрипка пела, а знаменитый лихач на Ва́рваре уносил Кропоткина по Невскому. А что будет с ними? Какие шансы на побег у Ярославского? На что он рассчитывает?

Вечером надзиратель принес в чайнике кипяток. Чайник блестел надраенной медью, словно зеркало. В него можно было смотреться. Лицо делалось круглым, нос расплющивался. А Татьяна выглядела матрешкой с плоским лицом. В камере была сырость, запустение, а посуда

почему-то сверкала. Уголовные жаловались, что начальник извел их, требуя, чтобы медь надраивали тертым кирпичом.

Землячка обхватила тонкими пальцами кружку и приятное тепло от нее разлилось по всему телу.

— Пожалуйте-с, дамочка...— Надзиратель покосился на дверь и достал из кисета записку, пахнувшую табаком.— Просили-с передать...

Надзиратель как-то присутствовал при ее ссоре с ротмистром Мироновым. Он относился к ней с почтением и слова старался выбирать ученые. Она сунула ему в руку целковый.

— Ни боже мой! —Надзиратель торопливо засовывал деньги в кисет.

Она улыбнулась. Письмо спрятала в рукав платья и принялась ждать, когда надзиратель унесет чайник. Тот на цыпочках удалился. И только в коридоре начал греметь ключами. Ярославский сообщал, что пилка, присланная в куличе, очень тонка и вряд ли ей будет по зубам толстенная решетка. Да, Сущевская часть построена недавно и предусмотрительно: усиленная охрана, метровые стены, решетки на окнах, пулеметная башня, тяжелые двери с хитроумными замками. Силой здесь ничего не сделаешь. Тут нужна хитрость... Бежать они решили ночью, когда подпоенная стража завалится спать. А ей придется подождать более удобного случая. Хорошо сказать — подождать более удобного случая. Да будет ли тот случай? И все же она не обиделась. Конечно, им сподручнее — сидят в одной камере, а как быть с нею? Старая истина, чем меньше людей привлечено к побегу, тем он надежнее. И все же на сердце у нее холодок. Она уже привыкла к мысли о совместном побеге, а тут... Но вскоре она справилась с собой. Личная обида отошла на второй план. И еще она понимала, что одним мужчинам будет легче бежать и раствориться в переулках.

В ночь, назначенную для побега, Землячка не спала. Она подходила к тюремной двери и прислушивалась к тишине. Неожиданно в коридоре началась возня, слышалась ругань надзирателей, негромкое пьяное пение. Пасхальные приношения купца Анучина и Лидочки Катениной делали свое дело.

В камере тоже стояла непривычная тишина. Пристав полицейской части распорядился перевести уголовных

в другой коридор. Уголовные, оказавшиеся воровками, пьянствовали, громко ругались, и избавлению от них Землячка только обрадовалась. Она присела на койку Татьяны и молча взяла ее за руку. Татьяна тревожилась за брата. Землячка ее успокаивала. Свет они погасили в обычное время, чтобы не вызывать раздражения надзирателей. Впрочем, надзирателям в этот первый день пасхи было не до них.

Землячка снова стояла у двери. Слушала... Слушала до боли в висках, до гулкого гула крови в ушах. Слышала пьяные голоса, как только распахивалась дверь в дежурку. Часы отбили три удара. И вдруг они услышали звук падающего тела. Что это? Кого волокут в карцер? Землячка приложила ухо к двери. Нет, голоса были ласковые, уговаривающие. Неужто надзиратели так напились?

Уснула она в пятом часу.

Тюрьма пробуждалась неохотно. Из коридора доносились непривычные шаркающие шаги, ленивые голоса. И вдруг все пришло в движение. Властные и резкие голоса. Гром засовов. Крики команды. Распахнулась дверь и в их камеру. Надзиратель, держа связку с ключами, вытянулся и пропустил начальника. Полковник поспешно вошел в камеру и остановился у пустых коек. Глаза его сузились.

— Где эти трое?

Надзиратель втянул живот, испуганно вращая глазами. Произнести он ничего не мог. Спас положение молоденький подпоручик.

— По вашему распоряжению уголовные переведены в одиннадцатую камеру... Новых арестованных за эти дни не поступало...

Полковник кивнул.

Землячка встала и попыталась что-то сказать насчет скудного питания. Но полковник перебил ее:

— О претензиях в следующий раз...

Полковник круто повернулся и вышел в коридор.

Свита последовала за ним. Землячка подивилась их торопливости и, боясь быть услышанной, подошла к Татьяне:

— Значит, свершилось... Удачно ли...

Татьяна беспомощно развела руками. В серых глазах ее застыл испуг.

— Думали попить да попеть, ан плясать заставили.— Она обняла Татьяну и огляделась по сторонам:— Однако ни перловой каши, ни горячей воды... Странно все это...

Улыбнулась и Татьяна. Да, поспешное бегство бравого полковника вселяло надежду.

За весь день двери камеры так и не открывались. Ни на прогулку, ни на свидания, ни завтрака, ни обеда. У начальства, видимо, были другие заботы. Вечером в камеру зашел надзиратель. Оглянулся на дверь и зашептал:

— Побег политики устроили... Вот беда на нашу голову.— Он выложил из корзины по ломтю хлеба, разлил баланду.— Подговорили политики уголовных, аж тридцатку отвалили, чтобы те сняли решетку. Пробовали пилками, а те сломались. Решетка-то в добрых два пальца. Те взяли да ломом и выломали дыру в стене.

— Дыру в стене? — не утерпела Татьяна.

— Вот в том-то и беда. Служба-то перепилась. Кривого аж за ноги волочили по коридору, чтобы очухался.— Надзиратель взглянул на женщин и, не уловив насмешки, продолжал: — Ох, грехи наши тяжкие... Попутала нас нечистая. Перепились мужики... А политики-то и смылись...

— Не нашли? — В голосе Землячки безразличие, рука отламывает кусок хлеба.— Неужто не нашли?

— Ищи ветра в поле,— вздохнул надзиратель.— Офицер-то ускакал с дежурства, говорят, к полюбовнице, вот и началось все. Его грозятся на гауптвахту. Вот какие дела! Вы ночью ничего не слышали? Ну там звон стекла али каких криков?

Землячка вопросительно переглянулась с Татьяной.

— Мы, мил человек, тоже разговлялись. От купца Анучина бутылочку кагора получили... Выпили и спали, как сурки... Спали и ничегошеньки не слышали: кто кричал, кто шумел, кто бежал... Ничегошеньки... Проснулись, дверь в камеру загремела, и их благородие полковник ввалился. Он нам ничего не сказал!

Землячка словно была удивлена, что полковник не поделился с ними таким известием.

— Куда там, характерный... Ну вы тут, цыц! Ни-ни...— Надзиратель тряхнул головой, все еще не в силах справиться с хмелем.— Теперича комиссиями замучают, а то и того — в каторгу...

И сам, потрясенный такой перспективой, вздохнул, захватил чайник, с которого слетела крышка, выругался и направился к двери.

Татьяна и Землячка, схватившись за руки, счастливо засмеялись и закружились в вальсе. Наскакивали на при-

винченные к полу койки, больно ударились о табурет, прикованный цепью к ножке стола, и, тяжело дыша, рухнули на постели.

— Теперь тебе, Розалия, не уйти... Такие строгости закрутятся...— Татьяна сделала несколько глотков чая и с сожалением посмотрела на свою напарницу.

— Чепуха! Было бы желание, а возможности всегда отыщутся! — Землячка говорила уверенно, а в душе...

Действительно, положение осложнилось, но ведь этого и следовало ожидать.

Землячка протянула руку под матрац, проверила — распластанная шляпа, с замятыми цветами, вуаль, густая и плотная, спасибо моде, и длинные перчатки, простроченные шелком. Все было на месте, как славно она все придумала и от обысков свое богатство сохранила. Полковник-то едва не бросился вещи перетряхивать, когда заметил отсутствие уголовных. Из слов надзирателя она поняла, что вместе с Ярославским бежали и уголовные. Действительно, чудеса — сделали пролом в стене и ушли. Вот каким красным днем обернулась святая пасха!

А как быть ей? Смириться? Нет... Главное, не торопиться, все взвесить и проверить. Лазеечку она отыщет, она обязательно найдется. Терпение и еще двадцать раз терпение. Что ж! И терпения ей не занимать. Она давно отучила себя от порывов и несдержанности, когда действия подчинены чувству. Рассудочности побольше, рассудочности... А пока беречь силы. Она завернулась в платок, взятый у Татьяны, и заставила себя уснуть. Утро вечера мудренее.

Землячка вернулась с допроса и, встретив вопрошающий взгляд Татьяны, ответила с детства полюбившимися стихами:

Где к родине любовь вскипает,
Там сила вражья отступает,
Там груди крепче медных лат...

— Значит, допек тебя Миронов.— Татьяна протянула ей кружку с кипятком и на манер фокусника опустила в нее кусок рафинада.

Землячка незаметно проверила свое богатство — шляпу, перчатки, вуаль. Слава богу, все на месте. Побег становится реальностью. Катенина дала явку в гостиницу

«Луч». В гостинице останавливались актеры. Они поздно возвращались после спектаклей и концертов, и дверь в гостинице на ночь не запиралась. Катенина дала номер знакомой актрисы. По удивительному совпадению номер был пятым, как и их камера.

Катенина, милая, добрая... Катенина ждала ее, волновалась. Землячка, не раз готовившаяся к побегу, не могла ответить, кто нервничал сильнее,— те, кто должны были бежать из тюрьмы, или те, кто готовили побег на воле. Риск был огромный, а в случае провала их ждала не тюрьма, а каторга!

Огромного самообладания требует от человека побег. И не только самообладания, но и выносливости. Кропоткин, заключенный в Трубецком бастионе, заставлял проходить себя несколько верст в день. Камера его всего несколько шагов в длину и несколько в ширину. Он промерил длину по диагонали, получилось девять шагов, версты пересчитал на шаги, получилось, что тысяча пятьсот шагов по камере — долгожданная верста.

Вот и Землячка, поражая Татьяну, ходила по пять верст в день. Татьяна тревожилась, уговаривала ее пожалеть себя. Землячка была неумолима. Она задумала побег, и ей нужны были силы. Когда мысли сосредоточены на единственном желании, когда все силы душевные подчинены одному порыву, то решение приходит внезапно, поражая простотой и неожиданностью.

В это утро Татьяна застала ее сидящей на койке. Землячка проснулась задолго до побудки и сидела не шевелясь. Татьяна поняла, что решение принято.

Днем они мало разговаривали. Землячка распрямилась, стала словно выше ростом и плохо слышала Татьяну.

Тоскливо тянулся тюремный день. Редкие шаги в коридоре. Вечное ожидание допроса, который порождал чувство настороженности. Она всегда боялась этой битвы с умным и злым врагом, вооруженным и фактами, и документами, и всякого рода преимуществами, о которых становится известно только в самый критический момент.

На этот раз в камеру вошел надзиратель по кличке «Николай Второй». Маленький. Юркий. С бегающими глазами. И приклеенной ухмылкой на лице. Вместе с ним пришел и купец Анучин. Татьяна, понимая состояние Землячки и боясь за нее, начала обстоятельный разговор с купцом Анучиным. На купца было страшно смотреть:

тряслась от долгого перепоя голова, руки, под правым глазом красовался синяк. Фрак, в который он облачился для такого торжественного случая, был помят. От него разило водкой, он с трудом держался на ногах. Он рассказывал о хождении в Иерусалим, ко гробу господнему, протягивал сандаловые крестики.

— Праздник воскресения Христова — праздников праздник и торжество из торжеств.— И вдруг он неожиданно затянул дрожащим голосом: — Смертию смерть поправ...

Татьяна встала, сложила на груди руки, глаза ее смеялись. Она боялась встретиться взглядом с Землячкой.

Анучину вторил и надзиратель Николай Второй:

Христос воскрес из мертвых,
Смерти празднуем умерщвление,
И сущим во гробех живот даровав...

Татьяна согласно кивала головой и также пыталась, к удивлению Землячки, повторять за ними слова. «Вот это конспиратор!» — умилилась Землячка.

Николай Второй обошел камеру, проверил петли на окнах. После побега Ярославского и его товарищей они были особенно бдительны. И болезнь Землячки, которой она отговаривалась, чтобы не вставать с койки на случай возможного обыска, его тоже радовала.

Анучин отвешивал низкие поклоны, просил прощения за свои грехи и, наконец, вывалился из камеры. Землячка тяжело вздохнула. Загремели ключи. Заперли... Татьяна вскочила и заколотила кулаками по двери. В коридоре замешкались, и в дверь медленно просунулась голова Николая Второго:

— Чего-с, бабоньки?

— Чай почему не принесли? Чай...— Татьяна от волнения облизнула губы.

Николай Второй долго не мог понять, почему он забыл принести чайник к политическим, и, сплюнув, с досадой сказал:

— Потерпите, бабоньки, сейчас купца провожу и сразу с чайником к вам...

Землячка облегченно вздохнула. Татьяна повернулась спиной к двери и головой закрыла волчок. Землячка надела жакет, ее пальто примелькалось в участке, шляпку, расправила слежавшиеся перышки, натянула перчатки.

Татьяна молча велела ей пройтись по камере и удовлетворенно кивнула, Землячка закуталась в шерстяной платок и легла лицом к стене. Татьяна накрыла ее одеялом.

На этот раз ждали недолго. Николай Второй загремел ключами, взглянув на лежащую лицом к стене Землячку, вздохнул:

— Грехи наши тяжкие...— И добавил: — Кипяточек, барышни, как обещал... Чайку не прогневайтесь...

Землячка слегка повернула голову и попросила не закрывать дверь до возвращения его из соседней камеры. Николай Второй согласно кивнул: конечно, когда неможется, завсегда душно и воздуха не хватает.

Взвизгнула дверь в соседней камере. Землячка резко встала. В ее распоряжении всего несколько минут. И эти минуты могут решить все. Наверняка надзиратель начнет с уголовными лясы точить. Он пьян, а в таком состоянии люди болтливы. Есть всего несколько минут, пока надзиратель вернется за чайником. Несколько минут...

Она молча взглянула на Татьяну. Та стояла, прижав руки к груди. В глазах ее был испуг. У двери Землячка обернулась. Татьяна делала подобие чучела на ее постели, укрыла его одеялом.

Землячка пошире приоткрыла дверь. Вздрогнула. Заскрипели ржавые петли. Она переступила высокий порог и замерла. Минута... другая... Тускло с ночи светила лампа в дальнем конце коридора. Коридор. Сколько раз ее проводили по нему то на допрос, то на прогулку, но никогда он не казался ей таким унылым. Она сделала несколько шагов, сердце ее колотилось.

Длинный тюремный коридор вел к главному выходу к дежурной части. Там собирались надзиратели, постоянно дежурил офицер.

Сущевская полицейская часть была и полицейским участком, куда приходили люди по всяким делам, и тюрьмой для временного содержания арестованных.

Широкий коридор от главного входа вел в тюремный двор. Во дворе стоял флигелек, в котором жил тюремный врач, надзиратели. Значит, главное миновать пять ступенек, которые отделяли ее от главного входа. Всего пять ступенек. Обычно здесь находился пост. Дежурный никого не пропускал в тюремную часть. Сегодня дежурного не было. По случаю святой пасхи у доски с ключами от камер тоже никого не было.

Через многие годы она с удивлением вспомнит, что все детали, которые выхватывал ее взор, запечатлелись в сознании навсегда. Долго еще она будет просыпаться по ночам с бьющимся сердцем и видеть коридор, мерцающую лампочку. И шаги по пяти проклятым ступеням...

Она споткнулась, запутавшись в складках длинного платья. Главное, миновать ступени. Через открытую дверь пройти в тюремный дворик. И тут она увидела детей, катавших обруч. Увидела зеленую траву и яркое солнце. У нее закружилась голова. Куда идти? Конечно, нужно свернуть к дежурке. Риск велик, но и надежда реальнее. Она опустила вуаль и сделала несколько шагов. И вдруг услышала за своей спиной звон шпор. Шаги убыстрялись, дробились и заполонили все пространство. Невероятным усилием воли она заставила себя замедлить шаг. «Только не бежать»,— вихрем пронеслось в ее голове.

Дежурка жила своей жизнью. На столе и по всем углам водка, которую надзиратели при виде дамы как-то пытались прикрыть. Естественно, это выглядело глупо. Сидел на подоконнике пьяный жандарм и рассказывал что-то смешное. Из-за стола поднялся огромный верзила и уставился на нее. Он явно не мог взять в толк, откуда появилась здесь эта нарядная дама. Смутил его и офицер, вошедший в дежурку почти одновременно с незнакомкой. В дежурке воцарилась тишина.

— Я правильно направляюсь к выходу? — обернулась Землячка к офицеру.— Прошу вашей защиты...— И вновь предупредила вопрос: — Я приезжала поздравить свою крестницу, Катерину. Максим Федорович хотел меня проводить, да я отказалась. У доктора гости, и мне не хотелось лишать их его общества.— И уже совершенно доверительно добавила: — Ох, уж эти мне пасхальные визиты...

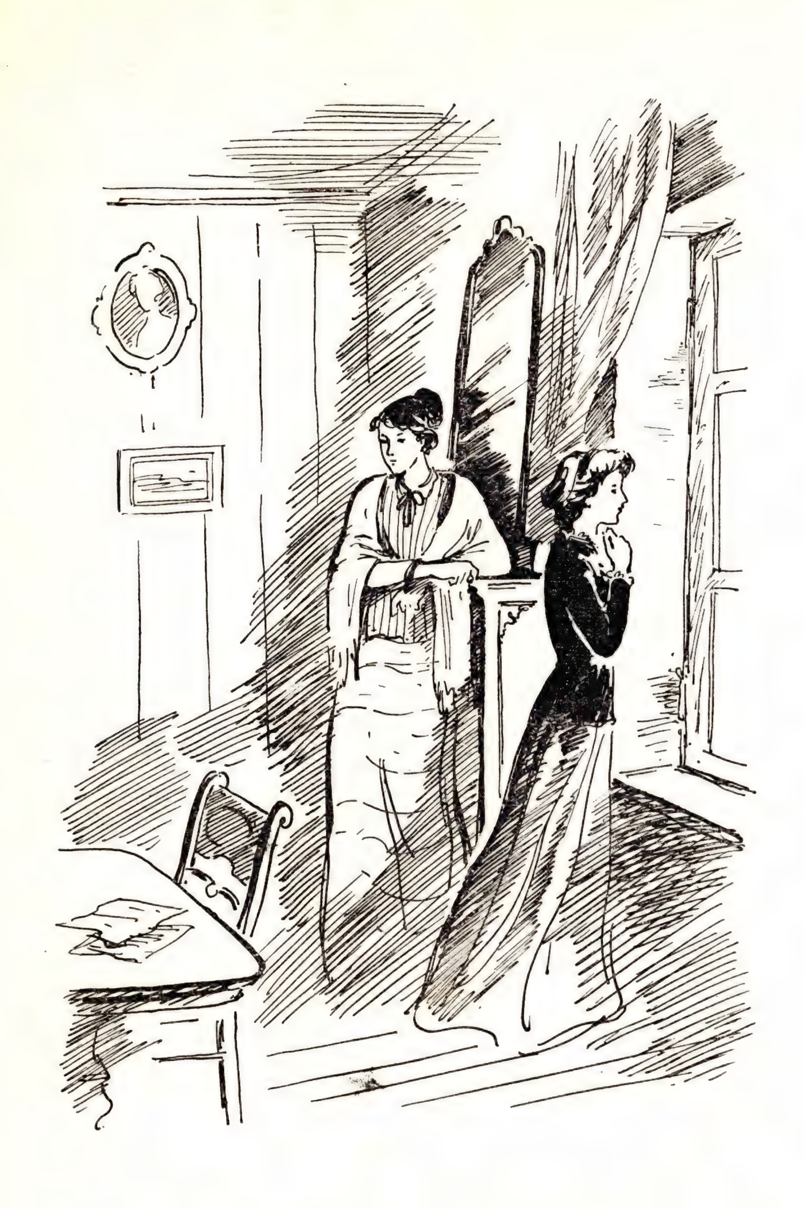
— Что делать, мадам... Традиция...— Офицер предложил даме руку. Она оперлась на нее, и они проследовали через дежурку.

У полицейской части о чем-то спорили два жандарма. Она попросила офицера остановить для нее лихача.

Этот день был днем удачи. Жандарм, которого отослал офицер, прикатил на лихаче. Офицер подсадил даму в пролетку, поцеловал ей руку.

Землячка закрыла глаза и даже не почувствовала момента, когда лошади тронулись.

Свобода ошеломляла ее...





«ГОРЯЧО ЛЮБЯЩИЙ ВАС КОЛЯ...»

1907 год. Закат полыхал красным пламенем. Скупое февральское солнце бросало последние лучи. Багровые полосы проступали на обоях, придавая комнате зловещий вид. В окна, ослепшие ото льда — морозы в Москве стояли небывалые,— с трудом проползали закатные лучи. Было что-то леденящее и в раннем закате, и в студеном солнце, желтым шаром неподвижно повисшем за окном.

Сестры сидели на диванчике, поджав ноги. Людмила Николаевна Сталь, как старшая, закутала Лизу в плед и смотрела на нее тревожно и изучающе. Они давно не виделись. Встреча в Петропавловской крепости, куда Лизу вызвали для опознания, была последней...

Лиза, похожая на матушку и манерой держать себя и ровным, спокойным характером, молчала. Она еще не пришла в себя от неожиданного появления сестры. Ни писем, ни телеграмм, и вдруг Людмила в Москве, да в такие дни.

Комната была угловой, скромной. Лиза, учившаяся на курсах Герье, открытых в Москве на манер Бестужевских, снимала ее у портнихи за пять рублей. Ее разбудил ночной звонок. В прихожей она услышала голос сестры.

Не почудилось ли? Хозяйка что-то отвечала сонным голосом, а затем резко постучала в ее дверь.

Людмила вошла стремительно. Знакомым движением сбросила шубу, сняла шляпу, путаясь, по обыкновению, в шпильках, застрявших в прическе, и, счастливая, бросилась обнимать сестру. Людмила поела холодного мяса, которое Лиза, словно предчувствуя приезд сестры, оставила на столе. Лиза уложила ее спать. Людмила выглядела утомленной и постаревшей. Лиза ни о чем ее не расспрашивала.

Утром Лиза пошла за газетами, зная, что ей будет благодарна сестра. Людмила проснулась среди дня, расспрашивала о матушке и отце, а затем принялась за газеты, которые пестрели плешинами.

— Цензурный комитет руку приложил...

— Да, они сняли сообщения о смерти Николая Павловича Шмита.— В голосе Лизы задрожали слезы.— Студенты университета объявили забастовку... И день-то такой хмурый...

На столике горела лампа, матовый свет ее расползался по углам.

Сестры любили сумерки проводить вместе. В родном доме они забирались на второй этаж в спальню Людмилы и устраивались на диване. Сидели обычно, прижавшись друг к другу, и вслушивались в темноту. Полумрак таил загадки, таинственность надвигавшейся темноты была полна радостных и тревожных ожиданий. Сидели и слушали, как завывал ветер, бушевала вьюга, как трещали поленцы в печи и сыпались искры из приоткрытой дверцы. Сыпались на железный лист, прибитый к полу, вспыхивали и замирали, покрываясь тусклым пеплом.

Людмила встала, поправила плед, хотела, чтобы сестра уснула.

Значит, они все-таки убили Николая Павловича Шмита. Фабрикант, друг Баумана, родственник Саввы Морозова. Студент естественного факультета Московского университета, купец первой гильдии, поставщик двора его императорского величества. Убит зверски в башне Бутырской тюрьмы, именуемой среди заключенных Пугачевской. Она хорошо знала эту Бутырку. Туда ее доставили этапом, после ареста на станции Граница с транспортом искровской литературы. Это было в 1902 году. Людмила сжала виски. И сразу вспомнились паровозные гудки, толпа,

насмешливый хохот студента, советовавшего жандармам «на счет Федора не забыть распорядиться». Студента не поняли, он советовал жандармам не пренебрегать розгами, смеялся надрывно, в бессильном отчаянье. И таможенник из прибалтийских немцев, сухой, длинный, напоминавший журавля. Он с завидной обстоятельностью устроил досмотр. Она прекрасно ехала в одном купе со штатским генералом, благообразным старичком, который возвращался после лечения на водах. Говорили о Париже, вспоминали Лувр, полотна Гойи и улыбку Джоконды... Говорили о мессе в соборе Парижской богоматери, о сказочных химерах, украшавших собор. Их изображения везла и Людмила Николаевна и старичок. Вспоминали, как изрыгали потоки дождя их чудовищные пасти, говорили о лучезарном Монмартре, на котором всегда была ясная погода, восхищались гулким булыжником крохотных улиц с лавками художников. Париж... Теперь он казался еще прекраснее. И эта проверка паспортов, наглый офицер. И кондуктор, который за трешку доставил чемодан ее и спутника в таможню. Генерал все беспокоился, что таможенники выкрадут из чемоданов лучшие вещи. А как изменился ее храбрый попутчик, как отвернулся от нее, когда на стол легли листки «Искры»!

Захваченная воспоминаниями, она принялась ходить по комнате — старая привычка, приобретенная в российских казематах. Камера любой величины оказывалась пригодной для прогулок. Она, как и Кропоткин, умела переводить шаги в сажени, сажени в версты и шагать, шагать до изнеможения. Это — единственная возможность сохранить в тюрьме силы. И вдруг остановилась. Силы труднее рассчитывать на воле, так много надо успеть.

Людмила Николаевна прижалась к стеклу, замерла. Закат угас, и комната погрузилась в темноту. Ярко вспыхнула лампа на столе, заливая комнату теплым, ровным светом. Услышала ровное дыхание: Лиза спала. И удовлетворенная, принялась рассматривать улицу. Отодвинула занавеску. Сквозь схваченное морозом стекло виднелся фонарь, раскачиваемый на ветру, по земле метало оранжевый круг. И городовой, который топтался под фонарем, закутавшись в башлык. Случайно или слежка? Мысль обожгла ее. И тут же она отогнала ее. Бывают минуты, когда все кажется ненужным, когда усталость побеждает, когда не хватает душевных сил, чтобы справиться, а

равнодушие граничит с бездействием. Таких минут она стыдилась, но они бывали. Вот и сегодня. Убили Шмита... Честнейшего и благороднейшего человека.

Лиза что-то произнесла во сне, и гримаса боли исказила ее лицо. Как она похожа на матушку! Вьющиеся волосы, соболиные брови, строго очерченные губы, а глаза у нее всегда добрые, улыбчивые. Ушла из родительского богатого дома, курсистка, мечтает стать учительницей. Еще занимается на курсах акушерок, чтобы помочь при родах. Лиза... Лиза... Сколько дорог ты должна пройти, чтобы выбрать свою, единственную!

На столике журнал. Парижский. С красочными картинками. В журнале закладка. Значит, Лиза отметила для нее какое-то место. Она быстро перелистала страницы и вынула закладку. Статья Максима Горького. Она придвинула лампу и открутила фитиль.

«Николай Шмит — студент университета, очень богатый человек, он владел лучшей в Москве фабрикой стильной мебели, предприятие его было поставлено во всех отношениях прекрасно, славилось изяществом своих работ, давало большие доходы.

Человек молодой, по природе своей мягкий, влюбленный в художественную сторону своего дела, Шмит нашел справедливым улучшить положение рабочих своей фабрики, что, вероятно, было выгодно и ему, хозяину предприятия.

Его приличные отношения к рабочим и добрые отношения рабочих к нему создали Шмиту в глазах московской полиции репутацию либерального фабриканта, политически неблагонадежного человека.

Порядочность, как бы она ни проявлялась, считается преступлением в стране, которой, как это известно, управляют министры, ворующие овес и хлеб у крестьян, где царь любит делать убийц генералами и поощряет генералов к убийствам классически циничной фразой, которую он бросил генерал-лейтенанту Казбеку после его доклада о мирном конце восстания солдат владивостокского гарнизона: «В народ всегда надо стрелять, генерал!..»

Людмила Николаевна не могла не уловить ни манеры письма Горького, ни нарочитости, которая чувствовалась. Статья написана в Лондоне. Горький старается сделать из Шмита либерала... Они дружили: Николай Шмит и Максим Горький, вместе слушали Шаляпина, бывавшего

в доме Шмита, вместе мечтали о счастливой доле русского народа... Максим Горький, получив известие о мече, занесенном над головой Шмита, страстно боролся за его жизнь. Писал, выступал, старался привлечь за границей к «делу Николая Шмита» мировую общественность, вызволить его из смертельной опасности, вырвать из рук тюремщиков. Старался, но опоздал... Шмита убили в камере Бутырской тюрьмы. Не спасли, не успели...

«Полиции было предписано доставить материал для русской Фемиды — существа чудовищного, ибо оно безвольно, глухо и слепо, а челюсти его приводятся в движение не живой силой справедливости, а механическими толчками из Петербурга...»

Людмила Николаевна зашуршала газетой, она пристально всматривалась в строки, которые сливались в сплошные черные полосы. Однажды в Париже она получила известие о казни товарища, с которым др жила. Человек сдержанный, она и на этот раз проявила спокойствие. Отложила письмо и, почувствовав головокружение, вышла на улицу. Елисейские поля гудели, расцвеченные нарядной и шумной толпой. Проносились экипажи, шурша шинами. Гремел невдалеке военный оркестр. День выдался воскресный. Громко смеялись женщины. Катали по зеленому газону обручи дети. Она присела на скамью, посмотрела на газон — и отшатнулась. Розы на газоне были черного цвета. Это место на Елисейских полях было ей хорошо знакомо, как неоднократно видела она и розы. Пушистые. Нарядные. В строгом великолепии. Но сегодня они были черными. Сердце ее сжалось и заныло. Ощутила приступ удушья, расстегнула воротник платья, закрыла глаза. Когда она снова посмотрела на газон, розы оставались черными.

Она опустилась в кресло. Шмита убили! Шмита зарезали в камере Бутырской тюрьмы.

Она не помнила, как проснулась Лиза. Та, испуганная ее видом, притянула сестру к себе, как гладила по лицу, шептала какие-то слова, принесла в рюмке бром. Очнулась она от резкого запаха нашатыря. Лиза растирала ей виски. Покрутив головой и облизав сухие губы, она с неудовольствием подумала: плохо дело, нервы сдают...

Сестры сидели рядом, как в то памятное утро на свидании в Петропавловской крепости. В кабинете у следователя. Людмила Николаевна, арестованная по подлож-

ному паспорту, отказалась назвать себя. Томилась долгие месяцы в Трубецком бастионе. Зеленая сырость на стенах. Вода на каменном полу, которую можно черпать. Оконце в паутине, казавшееся матовым от плотного слоя пыли. И эта тишина, леденящая кровь. Надзиратели натягивали на сапоги валенцы, они делали шаги неслышными. Коридоры были устланы войлоком. Тишина... Надзирателям строжайше запрещалось разговаривать с заключенными — молча ставили миску с баландой, открыв форточку в двери, молча приглашали на прогулку в маленький дворик вокруг каменной бани, обсаженной хилыми деревьями, молча подавали сигнал и уводили в камеру. Ни слова, ни звука... Тишина, от которой хотелось завыть волком. Все делалось так, чтобы унизить человека. На прогулке должна вышагивать в сером бушлате, с номером, в сером платке, словно серая мышь, тихая, запуганная, забитая. Из книг — одно Евангелие...

И вдруг однажды ей сунули в руки узелок с вещами и, подтолкнув, указали глазами на дверь. Впереди шел старший надзиратель. Она торопилась, волнуясь от неизвестности, путалась в платье. На пятки ей наступал дежурный надзиратель, угрюмый старик. В тюремном дворике, заваленном снегом, на тропинке она увидела кровь. Замедлила шаг, и тут же на нее надвинулся надзиратель. Кровь свежая... Значит, кого-то выводили на прогулку, последняя стадия чахотки. И такого больного держат в Трубецком бастионе!

Она долго препиралась с полковником, который пытался заставить ее дать «откровенные показания». Допросы ее раздражали. Ее, измученную страхами и волнениями, раздражали вопросы следователя, самодовольного и сытого. Полковник, промаявшись с ней долгое время, не без раздражения заметил: «Вы намного опаснее, чем я предполагал. Я верил в здравый смысл, ваше происхождение, ваше воспитание...» И совершенно неожиданно сказал, что против нее возбуждается дело по обвинению в бродяжничестве. Статья эта по Уголовному уложению грозила каторгой до пяти лет!

Людмила Николаевна даже не могла скрыть растерянности. И тут новый подвох — в кабинет ввели Лизу. Испуганную, заплаканную. Она даже не сразу поняла, почему Лиза оказалась в Петропавловке. Та смотрела на нее остановившимися от ужаса глазами: постарела,

изменилась до боли. Полковник предупредил Лизу об ответственности за дачу ложных показаний. Лицо Лизы вспыхивало от нервного румянца. В волнении она расстегнула беличий воротничок шубки и комкала в руках носовой платок. Она не признала Людмилу, робко отвела глаза и подтвердила, что эту даму «не имеет чести знать», и, подумав, добавила: «Несчастную». На замечание полковника о судебной ответственности в случае намеренного желания обмануть судебные органы Лиза кивнула головой. Она попросила полковника побыстрее составить бумагу. Видеть сестру в таком жалком состоянии ей было тяжело.

Людмилу Николаевну охватило странное оцепенение: неприятный разговор со следователем, потребовавший так много сил, сознание, что следствие прибегает к новой уловке, шантажируя ее своей осведомленностью, и, наконец, эта встреча с младшей сестрой, которая готова дать ложные показания, только чтобы спасти ее, Людмилу,— все казалось ей кошмарным сном. Полковник явно стряпал дело на сестру. Нет, она должна действовать. Она встала и заключила сестру в объятия. Лиза отстранилась от нее, как от чужой. Людмила Николаевна, прижавшись к сестре, почувствовала приятное тепло. Она уговаривала сестру, громко поносила порядки Петропавловки, которые так изувечили человека, что родная сестра не может признать...

Полковник запугивал Лизу, которая не опознала сестру в снимках, которые были ей предъявлены. Оказывается, Лизу несколько дней назад привезли из Екатеринослава.

...После Петропавловки Людмилу выслали в Вологду. Но с этапа ей удалось бежать. Работала на юге — в Одессе и Николаеве. Лиза получала крошечные записки и короткие приветы от разных людей. Известия приходили редко, и Лиза боялась нового несчастья. И действительно, последовал новый арест. Ее продержали в Крестах семь месяцев, предъявили обвинение по делу Питерской военной организации. Значит, впереди каторга. Обострилась чахотка, и ее выпустили до суда под залог.

— Что тебя привело в такие дни в Москву? — Голос у Лизы дрожал. Если охранка не побоялась разделаться со Шмитом, который из рода фабрикантов Морозовых, миллионщиков, то почему не расправиться с Людмилой? — Зачем ты в Москве? Здесь на каждом шагу шпики, филеры. Их перебросили в первопрестольную из Петербурга и Киева...

Людмила Николаевна поняла, что в душе у Лизы что-то произошло. Побледнела и голос срывается.

Чуть сросшиеся брови взлетели, улыбнулась. Знала, что сестра любит, когда она улыбается. Смеялись глаза, губы, щеки, она молодела, хорошела.

— Успокойся, дорогая...

— Успокойся? Даже Максим Горький и то не смог спасти Шмита... Шмит мертв. Его зарезали куском оконного стекла. Преступление сделали так тонко и расчетливо, что коварству их позавидовал бы сам Мефистофель. Убили... Продержали в камере четырнадцать месяцев, так и не предъявив обвинения! Четырнадцать месяцев в Бутырской тюрьме... Там неделя за год кажется...

— Не спешат в российских тюрьмах с предъявлением обвинительного заключения...— заметила Людмила Николаевна.— И попросила: — Лиза, расскажи все, что тебе известно о Николае Павловиче...

— Шмит на свои деньги вооружил и обучил дружинников, тех, кому сейчас выдали «волчьи билеты». Он сражался на баррикадах Пресни. Его фабрика, прозванная «чертовым гнездом», держалась до последнего. Рабочие потребовали, чтобы Шмит ушел с баррикады, они опасались за его жизнь. На квартире, которую он снимал у адвоката Плевако, жить в фамильном особняке он считал безнравственным, его и арестовали. Доставили ночью в Пресненскую полицейскую часть. Стали требовать, чтобы он приказал дружинникам прекратить сопротивление. Полками командовали каратели Мин и Риман. Шмит не только не отдал таких приказов, но и отказался сообщить имена дружинников. Арестованного привели к полковнику Мину. Ему угрожали, кричали, взывали к его рассудку. Ибо каждый, кто поднял руку на собственность и существующий миропорядок, в глазах этих господ кажется безумцем. Шмит молчал. Его увезли куда-то, потом вывели во двор, поставили у артиллерийских орудий, предложили завязать ему глаза. Шмит отказался. Рядом с ним стояли двое других, приговоренных к смерти. По русскому обычаю, они попросили друг у друга прощения, расцеловались перед смертью... Офицер подал команду, и солдаты, стоявшие в каре, дали залп. Упал сосед Шмита справа. Новый залп... Падает человек слева... Пули свистят у Шмита над головой. Это не расстрел, это издевательство. И опять Шмита, потрясенного предсмертными стонами товарищей,

Шмита, святого в своей доброте и любви к ближнему, ведут на допрос. О, какая жестокость, какая нечеловеческая жестокость! — Лиза нервно закурила папиросу под удивленным взором сестры.

— Придумать такую пытку! Как страшен все-таки человеческий разум, когда он обращен во зло! Довести человека до помрачения рассудка жестокостью и заставлять после этого давать показания!.. Этот полковник Мин отпетый негодяй.— Людмила Николаевна помолчала. На лице проступила такая усталость, так скорбно означились складки у губ, глаза потускнели, стали почти темными, и такая боль полыхнула в них, что сестре стало страшно.

— Ему всего было 24 года! — Лиза обняла сестру за шею и, услышав грохот в соседней комнате, заговорила шепотом, словно боясь, что их услышат: — Ночь. Темень. Факелы в руках солдат. Всполохи горящей Пресни. Артиллерийская канонада. Фабрика, которая загорелась на его глазах. Товарищи в гробу, которых не успели похоронить. И допросы, допросы, допросы, унижающие человеческое достоинство. Для полковника Мина главным было выслужиться, жестокость его была изощренной. В участке, где сидел Шмит, распустили слух, что Шмит задумал объявить себя царем на Руси. Шмит долго не мог понять такого обвинения, потом только рассмеялся.— Лиза помолчала, в глазах ее появился недобрый огонек.— Что посеешь, то и пожнешь... Зинаида Коноплянникова свершила суд над генералом Мином. Этот подлец после подавления Пресни получил чин генерала. Зинаида Коноплянникова отомстила за всех. Рука ее не дрогнула, выстрел всколыхнул всю Россию.

— Остановись, моя девочка! — Людмила Николаевна мягко привлекла к себе сестру.— Ты оправдываешь индивидуальный террор? Зинаиду Коноплянникову повесили. Не думаю, чтобы жертва была оправданна. У тебя, видно, плохие учителя, многого ты не понимаешь. Террор... Возмездие... Дело не в красивых словах. Все значительно сложнее и глубже.— Людмила Николаевна сразу посуровела.— Прошу тебя рассказать все по порядку. Факты одни, без эмоций...

— Хлопотами сестры Шмита перевели в тюремную больницу, в двенадцатую палату. Там находились и душевнобольные. Николай Павлович начал страдать хронической бессонницей. Потом его поместили в «секретку». По-

лутемную, крошечную. Шмит высокого роста и принужден был ходить по камере согнувшись. Соседями оказались: с одной стороны — душевнобольной, которого за нарушение распорядка то избивали, то надевали на него смирительную рубашку, с другой — приговоренный к смертной казни.

— Страшно, когда рядом с тобой товарищ ожидает смертную казнь...— Голос Людмилы Николаевны стал глухим.— Это всегда большое испытание. От тебя уводят товарища на смерть, а ты сидишь за железной решеткой и не можешь помочь.

— «Условия в «секретке» такие, что человек может разбить себе голову о стену»,— писал Николай Павлович сестре. Последние дни его жизни оказались кошмарными. Шмит переслал сестре письмо через подкупленного надзирателя. Последнее... Добыла в университете...— Лиза достала со шкафа коробку для шляп. Небрежно выбросила запыленные шляпы. Вынула ложное дно и извлекла листок папиросной бумаги.

Людмила Николаевна взяла листок. Руки ее дрожали.

«Дорогая моя сестрица Катя, именно в эти минуты уходящей от меня жизни ты мне дороже, чем когда-либо.

За мое длинное сидение в тюрьме мы при частых свиданиях так сблизились и так полюбили друг друга.

Своей запиской я хочу оставить тебе память о себе и привязанность к тебе.

Я чувствую, что минуты мои сочтены. Еще вчера вечером появились необычные признаки и странное отношение: надзиратели, что-то утаивающие от меня, а вместе с тем говорившие о разных зловещих для меня слухах. Но ночью вчера ничего не случилось. Я пробовал что-либо узнать сегодня утром, чтобы быть вполне подготовленным к предстоящей неожиданности, но опять все надзиратели молчали, а в коридоре говорили о том же.

Тогда я убедился, что надо мной затевается расправа, и добивался перевода к товарищам, чтобы вместе провести остаток моей жизни и поручить передать вам письма. Но мне во всем отказано. Я сижу один. Спокоен и жду, что будет. Поволновался лишь сначала от неизвестности.

Мне представляется, что хотят поскорее покончить со мной... торопятся и избегают огласки. Торопятся свалить с больной головы на здоровую.

Что же вы сейчас делаете, знаете ли вы что-либо? Думаю, что знаете. Вы, вероятно, узнали сейчас более, чем я сам.

Шлю мой последний горячий привет тебе и Николаю Адамовичу, живите, как и раньше, хорошо и счастливо. Зовите Лешу к себе. Передавайте мой привет маме, товарищам и моим рабочим, если зайдут справиться.

Дорогая, милая сестрица Лиза, не тоскуй обо мне, когда меня больше не будет, приходи навестить меня к моей новой тюрьме. Прощаюсь я с вами, с жизнью навсегда. Любите друг друга. Прощай, прощай, мама, поклон последний.

Писать больше не успею. Поцелуй Лешу. Отказывают даже в листке бумаги. Горячо любящий вас Коля...»

Людмила Николаевна молчала. Потрясенная. Шмит знал об уготованной ему доле и с простотой, которая говорила о недюжинном мужестве, шел навстречу смерти. «Спокоен и жду, что будет. Поволновался лишь сначала от неизвестности». Какие слова!..

— И такого человека объявить сумасшедшим! — Лиза закрыла лицо руками и рыдала, не унимая слез.— Бедный... Бедный...

И такое безысходное отчаяние было в ее словах, так тяжко исказилось от боли ее лицо, так дрожали худенькие, острые плечи, что Людмила Николаевна не выдержала:

— Полноте... Полноте...

Она понимала, что слова ее уже ничего не значат, зло свершилось. Она гладила сестру по голове и приговаривала:

— Полноте... Полноте...

— Официальная версия такова: надзиратель Кожин, переведенный в Бутырки из Шлиссельбурга, в шесть утра зашел в камеру Шмита и нашел его мертвым. Шмит лежал на каменном полу. Надзиратель вызвал врача. Тот констатировал самоубийство.— Лиза кулаками, совсем как в детстве, терла глаза и, отпив глоток холодной воды, собравшись с силами, продолжала: — Значит, так называемое самоубийство свершилось за несколько минут до проверки. Надзиратели находились в дежурке, расположенной рядом с камерой Шмита. Никто из опрошенных надзирателей— обрати внимание! — не слышал ни падения тела, ни звона разбитого стекла, ни предсмертных

мук и стонов. Это-то в «секретке», где улавливается каждый шорох, где постоянно в «иудушку-предателя» смотрит надзиратель. Никто из надзирателей не подошел к двери! Никто не поднял тревоги! Странно, не правда ли? — Лиза перевела дух.— В газетах кричат о «бутырской тайне»: «Убийство или самоубийство?» Ложь... Все ложь... Подло зарезать человека, столь светлого, и еще после смерти плести вокруг его имени грязную паутину... По медицинскому заключению Шмит якобы сам перерезал себе горло. В университете студенты удивлены до крайности: тому, как он это сделал, перерезав сонную артерию и не повредив вену, может позавидовать Пирогов. Сосед по камере, Виноградов, тот, кто передал это письмо, слышал и крики о помощи, и борьбу в камере.

Лиза сидела потрясенная, она была раздавлена такой чудовищной несправедливостью, бесстыдством, после которого не хотелось ни жить, ни верить в добро. Ей казалось, что зло захватило весь мир и что нет сил ему противостоять.

Людмила Николаевна понимала состояние сестры. Молодость бескомпромиссна, молодость лишена жизненного опыта, который помогает понять, что все в мире быстротечно, что силы разума и добра в конечном счете сильнее зла и бесчестия. Она не пыталась утешать сестру. Какие слова могут заменить мудрость жизни, терпение и умение ждать!

На столике был портрет Николая Павловича. Задумчиво и печально смотрел он. Что-то трагическое и обреченное было во всем его облике. В глазах вопрос о сути и смысле жизни. (Так и не нашел ответа на него.) Романтик и мечтатель! Как это она сразу не поняла. Взор, устремленный в небытие, да, ему была известна высшая правда. Длинные волнистые волосы, мягкая бородка, нос с горбинкой. Какое достоинство, простота! Фабрикант в потрепанной студенческой шинели. Фабрикант, друживший с Максимом Горьким и Федором Шаляпиным. Фабрикант, охранявший ночами гроб с телом Баумана, убитого черносотенцами.

— Петербург встревожен трагической развязкой. Шмит убит накануне выхода из тюрьмы.— Людмила Николаевна потерла виски, что всегда служило признаком сильного волнения.— Убит... Общество возмущено столь неприкрытым произволом.

— Шмиту вменяли в вину и то, что каратели дотла сожгли его превосходную фабрику. На Пресне торчат одни стены с выбитыми окнами да огромные воронки от снарядов. Придет время, и все узнают трагедию Пресни, трагедию Шмита! — Лиза перестала плакать, глаза стали лучистыми. Она сделалась выше ростом, и в ней появилась сила, которую раньше сестра не ощущала.— Войска полковника Мина били прямой наводкой по фабрике, вспыхнул дорогостоящий лес, начался пожар. Огонь растопил снег. Дружинники стояли по колено в воде, над их головами бушевало пламя. Вспыхнули два гроба, которые не успели предать земле... Гробы горели, как факелы...

— Гробы горели, как факелы! — повторила Людмила Николаевна. Привычная боль шевельнулась в сердце. И сразу ее охватила слабость, задрожали руки, и липкая холодная испарина выступила на лбу.— Когда похороны? Я хотела бы попрощаться с Николаем Павловичем.

— Попрощаться? — спросила Лиза.— Попрощаться... Да знаешь ли ты, что градоначальник Рейнбот требует поручительства от семьи?

— Поручительства? Какого?

— Обыкновенного. Рейнбот боится, чтобы не произошло то, что было в дни похорон Баумана. А о том, что полиция напала на участников похорон Баумана, когда возвращались с Ваганьковского кладбища, они, конечно, уже забыли. Родственники Шмита день и ночь сидят в приемной Рейнбота и умоляют о милости выдать тело покойного семье. Выдать тело и не устраивать тайного захоронения, как это сделали с Марией Ветровой; ее могилу сровняли с землей.— Лиза все время крепилась перед сестрой. Но не выдержала и вновь заплакала, порывисто и страстно, глотая слова, запричитала: — Подлецы... Мерзавцы... Им нужны гарантии...

— Что в университете?

— Бастует. Шмит с естественного. Мечтал вырастить ветвистую пшеницу, чтобы накормить голодную Русь. Только вдумайся: ветвистую... Что-то в нем святое и чистое теплилось от народничества.

— Лизогуб... Возможно, ты и права... Тот тоже пожертвовал свое огромное состояние на нужды «Народной воли» — и та же трагическая смерть на виселице, и то же мужество...— Людмила Николаевна какими-то новыми

глазами посмотрела на сестру: нет, сильно изменилась ее девочка. Жизнь научит и добру и злу, научит понимать и высокие и низменные порывы...

Людмила Николаевна подошла к окну и отодвинула занавеску. Пожар! Горел флигелек. Высокий столб оранжевого пламени взметнулся в черное глухое небо. Языки пламени вздрагивали, то удлинялись, то укорачивались, раскачиваемые ветром. Около огня топтались люди. Поблескивали каски пожарников. В сером небе ошалело метались вороны. Зловещие и крикливые. Кричали, как погорельцы на пепелище.

Плакала Лиза, уже не сдерживая судорожных рыданий. Она крепко обняла сестру и все повторяла:

— Они отнимут тебя у нас. Отнимут. Убили Шмита, убьют и тебя. Уже пять арестов... Две ссылки... Побеги из Сибири... Счастье, что удалось на поруки вырвать тебя из Крестов. Чахотка — благо! Родные радуются, когда у тебя туберкулез! Нет, они не позволят, чтобы ты ходила по земле и звала народ к бунту! Московской охранке ты хорошо известна — сидела и в Бутырках, и в Таганке... Откуда взять силы? А впереди тебя ждет каторга, ждет Сибирь...

— Успокойся, родная... На каторгу охранка меня не запрячет и новых пять лет жизни не украдет.— Лицо Людмилы Николаевны стало жестким, голос холодным. Значит, решение приняла, и давно.

— Зачем ты в Москве? Хочешь, чтобы тебя снова арестовали? В который раз нарушила подписку о невыезде?

Лиза затихла. Послышался робкий стук в дверь, и хозяйка, худенькая и простоволосая женщина, внесла самовар.

— Разумом мой приезд не объяснить. Да было бы и грустно, если бы из жизни ушли порывы и безумства... Бывают такие минуты, когда совершаешь что-то не раздумывая, не оглядываясь. Я никогда бы не простила себе и считала бы себя бесчестным человеком, если бы не отдала дань уважения Николаю Павловичу Шмиту.— Людмила Николаевна хрустнула пальцами и села за стол.

Сестры молчали. Людмила Николаевна разлила чай.

Лиза обхватила чашку руками. Ее бил озноб. Испытывала она и неловкость перед сестрой за вспышку.

— Кстати, Лиза, обыски в Москве прекратились?

— Почему ты так думаешь? Обыски проходят даже профилактические.— Лиза зазвенела ложечкой о стакан.— А почему ты спрашиваешь?

— Да у тебя на столике портрет Николая Павловича.

— Молчи лучше, конспиратор! Сама из Петербурга прикатила.— Лиза миролюбиво покосилась на сестру.— Да-с, из светлейшего Санкт-Петербурга...

ОСОБНЯК ВИКУЛЫ МОРОЗОВА

Хоронили Николая Павловича Шмита 16 февраля 1907 года. Екатерина Павловна, сестра покойного, стояла в оконной нише и не отрывала глаз от дорогого лица.

В зале на высоком постаменте — дубовый гроб. Сверху покрывало из кованого золота. С массивными золотыми кистями. С пышной бахромой. Все добротно. Богато. Даже с вызывающей роскошью. На подушке, шитой золотом, покоится голова Николая Павловича. Лицо бледное до синевы. Глаза закрыты, с черными впадинами. На лице блики от погребальных свечей, расставленных в шандалах у гроба. Пламя вздрагивало и колыхалось всякий раз, когда распахивались резные двери. И тогда лицо оживало и будто бы подергивалось от огромной невысказанной боли. Печать страдания ярче проступала на лице покойного. Смерть ее милому брату не принесла успокоения. Нет на лице ни умиротворения, ни отрешенности от тех страшных мучений, которые выпали на его долю. И брови сурово нахмурены, и губы сжаты, словно своего главного и гневного слова он не успел высказать... Не дали сказать ему этого последнего слова, не дали допеть песни. Горе и страдание, муку и непреклонность читала она на лице своего Коленьки.

Уныло отпевали певчие. Морозовы из старообрядцев. Певчие в поддевках с белыми кушаками. Высокие сапоги бутылками густо смазаны жиром. Подстрижены под скобку. Безликие и бесстрастные. Гнусавят, завывают, скороговоркой проглатывают привычные для себя слова. И нет в этих словах ни настоящего горя, ни настоящей тоски. Фальшь одна... Неприметное колебание воздуха заставляло дрожать банты из крепа, ими увили люстры. И в тишине, той страшной тишине, в которой было слышно, как пульсирует кровь в висках, позванивали хрустальные подвески.

Елизавета Павловна, младшая сестра, едва держалась

на ногах. Ее поддерживал под руку Алеша, младший брат. В свои шестнадцать лет ему хотелось бросить всем этим бездушным людям, всем чинам полиции, которые даже последние часы прощания с братом оскорбляли своим присутствием, гневные и злые слова, те самые, какие он читал на навеки умолкнувших устах брата.

И Екатерине Павловне, старшей, жаль Елизавету и Алексея. И гнев их понятен, и страдания, но если бы они знали, что пришлось пережить ей прошлой ночью, прежде чем гроб с телом Николая Павловича поставили у дядюшки Викулы Морозова в Введенском переулке!

И опять гнусавое пение певчих, покачивание грузных тел, земные поклоны, шарканье ног.

Екатерина Павловна прижалась к косяку ниши, уступая место венку, который вносили рабочие. Венков много. Они теснят и тех, кто пришел проститься, и певчих, и даже сам гроб, заполняют всю залу. Венки из живых цветов, венки из хвои, запах их заставляет ее страдать от удушья, белые ленты, как принято у старообрядцев.

Белый цвет... Для нее он подобен метели, завыванию вьюги, снежным сугробам.

Градоначальник Рейнбот наотрез отказался выдать тело покойного. Ужаса этих дней она не могла сравнить ни с чем. В дом ворвалась полиция. Устроили обыск, перевернули все вверх дном, допрашивали, искали завещание покойного. То самое, на котором настоял Николай. Она так протестовала против этого завещания! Завещание в двадцать три года! Он, прозорливец, словно понимал, что ему уготовлено, он и там, в каземате, просил отдать все состояние на нужды революции, просил не забывать рабочих с «волчьими билетами»... Он все знал, все предвидел. Хорошо, что завещание спрятали в надежное место. И почувствовала, как кольнуло сердце: не смогут ли власти его опротестовать, состояние-то крупное? Нет, не смогут — деньги вложены в предприятия Викулы Морозова. Дядя хотя не одобрял поведения племянника, но завещание признает и волю покойного исполнит

Екатерина Павловна переменила положение и сделала несколько шагов в сторону к тумбе. Резная. Сверкающая. На тумбе сатир. С длинным хвостом. С клоком волос над узким лбом. С колючим взором. Сатир зло смеялся над людской тщетой, приставив растопыренные пальцы рук к носу. Накось выкуси!

Николай... Николай... Она повертела головой, чтобы лучше рассмотреть брата. Какой-то купчина заслонил покойного широкой спиной. Стоять у гроба она не могла. Боялась разрыдаться и своим горем обрадовать блюстителей порядка. Их тут превеликое множество. Да и Николай, всегда сдержанный и строгий, этого бы не одобрил. Он не любил ни пышности, ни громких слов, ни богатства. Но Морозовы хоронили своего представителя и без пышности, богатства и мишуры обойтись не могли. Правда, благопристойность нарушалась полицией. Настороженность проскальзывала во взглядах и движениях, в нервозности, проявлявшихся в поведении богатых и добротных господ в бобровых шапках и бобровых воротниках.

Екатерина Павловна нежным и любящим взглядом всматривалась в лицо Николая Павловича.

Градоначальник Рейнбот долго и громко кричал на нее, требуя, чтобы она представила гарантии, что при похоронах не произойдет непозволительных эксцессов. При слове «эксцессы» голос генерала взвивался до крика, а полное лицо покрывалось испариной. Он припомнил и похороны Баумана, где покойник якобы грозил оружием чинам полиции, и с лицемерным сожалением сетовал на столь рано загубленную жизнь. Лицо генерала багровело от раздражения, с его уст слетали неодобрительные слова о распущенности молодых людей, которые родились в золотых сорочках, а жизнью своей не принесли ни чести своему сословию, ни верности государю-императору.

Она плохо понимала слова генерала, смотрела на густобордовые стены и высоченные бордовые занавеси, прикрывавшие циркульные окна, и молчала. Все ее душевные силы сосредоточивались на одной-единственной цели — не расплакаться, не потерять самообладания и достоинства. Однажды, доведенная донельзя недоброжелательностью генерала, сказала: «Генерал забывает, что перед ним женщина, потерявшая брата, что это не по-христиански, что подобной жестокости она не представляла и очень желает, чтобы он испытал бы подобную боль от потери близкого человека...» Генерал посмотрел на нее немигающими глазами с жесткими ресницами и, не поклонившись, круто повернулся на каблуках и вышел. Потом его адъютант пригласил ее в маленькую комнату, теперь уже синь обоев резала ей глаза, и сказал, что в порядке особого исключения и уважения к промышленникам Морозовым генерал

принял решение выдать тело покойного Шмита родственникам для захоронения на Преображенском старообрядческом кладбище.

Адъютант при этом наклонил голову с пробором и щелкнул шпорами. Она с трудом спустилась по мраморной лестнице. Ступени превратились в ребристую поверхность, она возвращалась на ощупь. Ею овладело спокойствие и даже радостное ощущение, которого она, видно, будет стыдиться вечно. Выдали... выдали... выдали... И только дома сознание того, что выдали ей не Николая Павловича, брата, а его тело, наполнило ее такой болью и ужасом, что она долго и громко, так что сбежался весь дом и прислуга, плакала и рыдала. И душу ее охватил страх. Перед глазами стояло лицо генерала, искаженное и недоброжелательное, и вся его фигура самовлюбленного и властного человека, поучающего ее жить в такие страшные дни. Она вспомнила его глаза в колючих рыжих ресницах, барские пренебрежительные движения, ту ярость, которая вспыхивала в нем каждый раз, когда он говорил о покойном Николае Павловиче, и эти слова о беспорядках, могущих последовать в обществе. Страх, что генерал передумает и не выдаст тело покойного брата, овладел ею. Значит, опять тайное захоронение, могила, сровненная с землей.

Этот страх и погнал ее ночью на угол Новослободской и Лесной улиц, заваленных сугробами, сузившими проходы так, что даже тюремная карета с трудом проезжала по мостовой. Бутырская тюрьма чернела своей громадой. Она поджидала у двухэтажного каменного дома, что был напротив тюремных ворот. Ворота эти, выкрашенные в черную и белую полосу, выделялись среди сугробов. Она потолкалась у ворот, где стоял у караульной будки часовой в романовском полушубке, обхватив руками винтовку. Лица его было невозможно разглядеть. Башлык наползал на глаза, и вся фигура его казалась неестественно большой и неуклюжей. Она поежилась. У караулки хлопнуло окошечко. Хлопнуло, как в тот день, когда дежурный надзиратель, дыхнув махоркой и переминаясь с ноги на ногу, глухо сказал: «Вашего брата не будет... Он покончил с собой». Глухо, словно выстрел, хлопнула тогда форточка. Это было в тот день, когда она к шести утра пришла к тюрьме, чтобы взять брата на поруки.

Метель валила густая. Снег, пританцовывая от встречного ветра, колол глаза и больно хлестал по лицу. Осо-

бенно кружил он у фонаря. У нее промерзли ботинки, и ноги обжигало холодом. Несколько раз с визгом открывались ворота, и тюремные кареты, грузно переваливаясь по мостовой, въезжали на Новослободскую. На каретах горел тусклый фонарь, выхватывая полосу падающего снега. Доносились застуженные голоса жандармов, и кареты исчезали в снежной мгле.

С Пименовской церкви раздавался бой часов. Унылый и протяжный, словно в Альпах, сигнал для терпящих бедствие в снежной пурге. Боже, уже девять часов вечера! Сколько же она торчит у ворот? Почти три часа. Она начала бить нога об ногу, пытаясь согреться, стянула варежки и долго растирала онемевшие руки.

Около ворот появился солдат и начал разгребать лопатой сугроб. Деревянная лопата с подвыванием скользила по снегу. Сугробы росли, обнажили ворота тюрьмы и те сделались выше, зловеще зарябили черно-белыми полосами. Показалось, что солдат пытается рассмотреть ее, стоявшую на противоположной стороне улицы. Она прижалась к стене. И наконец, когда она потеряла всякую надежду, когда испытывала то чувство беспомощности и отчаяния, от которого, казалось, не было спасения, когда нервы ее были натянуты до предела, когда глаза устали и слезились от нечеловеческого напряжения, распахнулись тюремные ворота в очередной раз. Сердце заныло, забилось, и вся она подалась вперед. Еще не видя, кого на этот раз выбросили тюремные ворота, она поняла, что увозят частицу ее жизни — ее брата.

Все было страшно и бесчеловечно. В плотном кольце конных жандармов громыхала фура. Гроб, привязанный веревками, был покрыт рогожей и присыпан негустым снежком. Раздалась гортанная команда офицера. Процессия выехала на Новослободскую и понеслась в снежном мареве. Гроб подпрыгивал на ухабах и грозился сорваться. Ни почтения к усопшему, ни уважения к смерти, этому величайшему таинству, не было. Был бешеный, сумасшедший галоп среди воя вьюги и стона ветра.

Проводив процессию глазами, Екатерина Павловна, проваливаясь в сугробы, добежала до Палихи. Там оказался извозчик. Она и сама не поверила, что все эти часы ее дожидался извозчик. Молодой парень с широкой белозубой улыбкой и умными, глубоко посаженными глазами. Он привстал, увидев ее, переползающую через сугробы,

виновато улыбнулся и сказал: «Захолодали, поди, барынька?» Сбросил сильным движением снег с козырька пролетки и выехал навстречу. Она сильно продрогла, даже не расслышала своего собственного голоса. Извозчик спрыгнул, помог ей сесть в саночки, закутал ноги полой.

Молча смотрел на нее. Она попросила спуститься вниз по Новослободской и опять удивилась, каким чужим и незнакомым стал ее голос. И испугалась — показалось, что очень долго и непозволительно медлительно выезжают саночки, что та процессия с жандармами и гробом, так беспомощно трясущимся на поворотах, давно исчезла в снежном облаке, растворилась, как мираж, что потерялась последняя надежда, а с ней и ниточка, связывающая ее с братом.

«Скорее... скорее... скорее,— мысли ее путались,— не упустите процессию... не упустите... не упустите...» Словно во сне, мчались они на санях, то проваливаясь в снежную мглу, то выныривая около фуры с гробом. Был слышен свист пурги да громкий храп лошадей. Выскочили на Садовое кольцо. Ветер нестерпимо гудел в ушах, стонал и плакал, как в непогоду домовой в трубе. И опять они приблизились к процессии так близко, что комья снега, вылетавшие из-под копыт лошадей, били ее по лицу. Извозчик сдерживал своих коней и недовольно покрикивал. У нее кружилась голова, сердце подступало к горлу и слезы застилали глаза. Откуда-то издалека она слышала: «Ну, залетные...» Это кричал извозчик, слова подхватывал ветер. Мелькали дома, придавленные снежными шапками, редкие фонари и одинокие фигуры городовых.

На Зубовской площади, сразу же как только миновали бульвар, темный и безжизненный, саночки наклонились и понеслись к Хамовникам. Она до боли вцепилась в поручни и не увидала, к своему ужасу, фуры с гробом. В плотном снежном вихре что-то маячило, но сказать определенно, что это процессия, за которой она гналась, не могла. Закрыла глаза от беспомощности, губы стали сухими и глухо стучало сердце. «Потеряли... потеряли... потеряли...» Она была одна в снежной пустыне, и страх охватил ее с такой силой, что она застонала. Извозчик перегнулся к ней и спросил: «Что случилось, Екатерина Павловна?» Она даже не могла понять, откуда он ее знает по имени. Молча кивнула головой в сторону маячившего впереди пятна и одним духом вытолкнула:

— Ту фуру с гробом не потеряйте. Я вам заплачу сто рублей.

Извозчик грустно усмехнулся:

— Не потеряем... не потеряем... не потеряем...

Потом она сулила и двести рублей, и триста... И опять извозчик молча кивал головой, и лошади летели быстрее, и голос его становился громче, и сани клонились ближе к земле.

Наконец процессия подъехала к воротам. Конные жандармы заколотили в них шашками. Инвалид на деревянной ноге распахнул ворота. Извозчик бросился с саней и, проваливаясь в сугроб, подошел к мрачному деревянному зданию, пристроенному к небольшой часовенке. Потоптался, повертелся и снял треух. Хлопнул по валенкам ременным кнутом и вернулся к ней.

— Все, барынька... Николая Павловича положили в морг.

Она заплакала и беспомощно начала раскрывать сумочку. Достала платочек, поднесла его к лицу. Боже... Да у нее с собой и денег-то нет таких! Сколько она ему обещала? Триста?! Раскрыла портмоне и от волнения уронила его в снег. Снег затянул портмоне, как все, к чему прикасались ее руки сегодняшним днем. Извозчик закрыл сумочку и мягко заметил:

— Напрасно себя утруждаете, Екатерина Павловна. Я сразу понял, кто вы есть. Я считаю Николая Павловича святым человеком и ждал у Бутырок неспроста. Денег не возьму. Гнал лошадей не за страх, а за совесть. Николая Павловича, поди, вся Москва оплакивает за его доброту да любовь к низкому люду. Вы скажите, куда вас отвезти. На похороны я обязательно приду. Отдам последний долг святому человеку...

...И опять взмыл хор. К Екатерине Павловне подошла высокая женщина. Статная. Красивая. С собольими бровями, сросшимися у переносицы. С большими грустными глазами. Рядом с ней стояла молоденькая девушка, чем-то неуловимо похожая на красивую женщину. Те же глаза, осанка, открытый взгляд. «Сестры, конечно, сестры»,— поняла Екатерина Павловна.

Людмилу Николаевну Сталь она видела когда-то в Московском комитете партии. Узнала, правда, не сразу. И сестру ее узнала. В не столь уж далекой бытности сестры

сидели в Таганской тюрьме — сестер было четверо,— вот и собрались все в Таганке. Об этом не без юмора рассказывал покойный. Она еще принимала участие в их судьбе. Носила передачи под видом родственницы.

Людмила Николаевна низко поклонилась ей и пожала руку. Глаза ее светились такой болью, что Екатерина Павловна, измученная холодом и равнодушием многих присутствующих, положила ей голову на грудь. Слов они не произносили, стыдились их пустоты.

— Подойдите к Лизе,— попросила Екатерина Павловна и указала глазами на сгорбленную фигурку в глубоком трауре.— Ей так тяжело...

Около Екатерины Павловны на коленях стоял старец. Грязный. В рваной одежде. С лохматой бородой, едва не касавшейся пола. Он пел какие-то псалмы, глотая слова. И вдруг громким голосом начал бросать:

— Люди, не будьте волками... Волками больше, чем требует жизнь. Остановитесь во взаимной ненависти и истреблении друг друга, помните о ранах ближнего, помните и о смерти с косой в руках, что прибирает нас, несчастных путников.

Людмила Николаевна отстранилась — проповедники оскорбляли торжественность прощания, да и к чему их стенания и примитивные заповеди...

Около гроба стояли студенты со скорбными лицами. В руках фуражки. На лицах скорбь. В глазах неверие в случившееся. Университет закрыт. Завтра состоится гражданская панихида по замученному студенту — естественнику Николаю Павловичу Шмиту. Студенты окружили брата покойного, Алексея, и что-то жарко говорили ему. Тот стоял отрешенный. Молчал. Очевидно, соболезнования не доходили до его разума. Лишь нервически подергивал гимназическую шинель. Поношенную и потрепанную, как у покойного брата.

Студенты отыскали Екатерину Павловну. Протиснулись. Крепко пожимали ей руки. Говорили громко, не таясь.

— Не плачьте, дорогая! Николай Павлович погиб за святое дело. Придет время, и народ у стен университета поставит памятник из чистого золота, поставит за все прекрасное, что сделал он для народа.

Екатерина Павловна кивала головой. Да, да, конечно, она с братом и сестрой придет на траурную панихиду по убиенному Николаю Шмиту.

На золотое покрывало положили букет красных роз с белой лентой. Слова-то какие тяжкие: «Дорогому товарищу от товарищей-бутырцев». Красные розы, словно кровь замученных.

Екатерина Павловна увидела, как оживилась полиция, как пристав пытался взять этот букет, но рабочие столь грозно придвинулись к гробу, что тот не решился.

Настало время прощания. Нетерпеливо передернул плечами пристав и что-то залепетал Викуле Морозову, вынимая из кожаного футляра часы.

Хор зазвучал особенно грозно, звуки взвивались вверх и падали, дробились, множились и заполняли зал. Распластался на полу старик с иконописным лицом, плечи его вздрагивали от рыданий.

Екатерина Павловна словно окаменела. В глазах ни слезинки. Она отвечала на тихие вопросы, отдавала какие-то приказания. Позднее она не могла вспомнить ни единого слова. Все окуталось плотным туманом, в котором был один притягательный магнит — лицо мертвого брата.

Толпа расступилась. У гроба остались родные. Елизавета, обхватив голову мертвого Шмита, пыталась что-то сказать сквозь рыдания. Алексей закрыл ладонями лицо. Плакал скупо, по-мужски. Неловко.

Рабочих становилось в зале все больше. Они теснили жандармов. Долгими и печальными глазами смотрели на покойного, кланялись низко до полу и отходили. Их место занимали другие. Сестры стояли рядом и скорбно отвечали на поклоны.

Прощание было простым и величавым.

Людмила Николаевна также клялась покойному, обещала быть верной и стойкой.

Закивали хвойными лапами венки. Рабочие брали их от стен и выстраивались в процессию. Только теперь Людмила Николаевна смогла прочитать,что было написано на белых лентах. Какие слова! «Гражданину — мученику», «Пусть ты погиб, товарищ, но не умерла идея», «Спи спокойно — дело твое не умрет».

Венки... венки... венки... Колеблясь и раскачиваясь, венки двинулись к распахнутым дверям. Пел хор. Сверкало красноватым пламенем кадило в руках священника. Дурманил ладан. Дрожали белые ленты. Проплыла крышка гроба. Отполированная. Тяжелая. И вдруг процессия замерла. В дверях столпились рабочие с венками. На них

надвинулась крышка гроба. Послышался ропот, гул голосов, который звонко отдавался под высокими сводами. Господи, полиция срывала ленты с венков. На лестнице процессию встречали полицейские и с каждого венка срывали белые ленты. Их бросали тут же на пол, и воздушная гора росла на глазах ошеломленных участников траурной процессии.

Людмила Николаевна продвинулась вперед и застыла, потрясенная. Медленно и торжественно плыл гроб с телом Николая Павловича. Его несли рабочие. Потом она говорила сестре, что если бы она до этого часа не выбрала пути, то, увидав такое кощунство, без колебания пришла бы в революцию. Есть такие порывы, есть такие мгновенья, которые определяют судьбу человека. И полиция преуспела в этот страшный день в революционной пропаганде.

Тяжелый и сверкающий гроб все плыл над мирской тщетностью и суетой. Размеренно покачивались золотые кисти покрывала. На лестничной площадке гроб развернули, и покойник словно ожил. В складках муслинового покрывала матовое лицо. На лице страдания и боль.

В морозном венце проглядывало солнце. Багровое. Зловещее. Сердито гудел ветер и бросал пригоршни снега. Весь переулок был запружен народом. Стояли на тридцатиградусном морозе терпеливо. С непокрытыми головами.

Особняк Викулы Морозова распахнул все двери. Из одних торжественно выплывал гроб, из других вереницей выходили люди. И опять городовой, неловкий и грубый в движениях, под изумленными взорами толпы срывал ленты с венков. Ленты падали на начищенные сапоги. Осыпалась хвоя под сильной рукой городового. Затаптывались в снег красные розы. Красные розы в снегу!

Из глубины двора появились носилки. Оказывается, рабочие решили нести гроб на руках до Преображенского кладбища. В белых попонах провели слепых лошадей. Факельщики в балахонах принялись укладывать венки в роскошную колесницу. Отъехала первая колесница с венками. У подъезда застыла вторая. И опять факельщики в белых цилиндрах укладывали венки с оборванными лентами.

— Шпиков-то сколько... Венки и те претерпели схватку с полицией. Вот оно что делается! — какой-то мужчина обернулся к Людмиле Николаевне.

Она его не знала. По форме телеграфист. Наверняка

из умеренных. Не выдержал надругательства... Не выдержал...

— Гороховое пальто, как отличительная особенность гражданских похорон,— не утерпела Людмила Николаевна.

Лиза больно сжала ее локоть. Конечно, лучше молчать. Людмила Николаевна в странном оцепенении смотрела на происходившее. Как всегда в минуту наивысшего страдания, казалось, что она только со стороны смотрит на все происходящее, что стоит только захотеть, и все исчезнет, как в страшном сне. Но в душе она понимала, что изменить ничего невозможно, что крики жандармов и городовой, срывавший белые ленты с венков,— реальность, что Шмит, мечтатель и романтик, убит зверским образом в Бутырках, что сегодня она прощается с ним навеки.

Процессия длинной пестрой лентой выстраивалась вдоль переулка. Вдоль домов густая толпа. Народ был всюду: и на крышах и на фонарных столбах.

Процессию открывали конные жандармы. За конными жандармами — пешие. За полицейскими проваливался в снег мальчик, казавшийся игрушечным в нагольном тулупчике с иконой. Солнце, выплывшее из-за облаков, золотило богатый оклад иконы. За мальчиком в живых цветах плыли носилки, на которых установили гроб. Рабочие несли носилки бережно, словно боялись потревожить покойного. Размеренно колебались цветы, присыпанные снегом. Шли певчие из старообрядцев, в черных поддевках, перехваченных широкими шарфами. Спотыкаясь и проваливаясь, боялись отстать от гроба сестры. Екатерина Павловна и Елизавета Павловна. Их поддерживал Алексей. Он устал от нечеловеческого напряжения, устал от жандармов и полицейских, которые имели наглость чувствовать себя хозяевами на тризне! Все его существо переполнено было гневом.

Тяжело переступали слепые кони с траурными катафалками, загруженные венками. Чинно шли похоронщики. В цилиндрах. В пелеринах на траурном платье. С серебряными галунами.

Переваливались солидные господа в енотовых шубах. Богачи. Они не одобряли жизни покойного, но, учитывая деловые связи, не могли не оказать уважения Морозовым. Полиция оцепила процессию! Оцепила и их, таких благопристойных и денежных воротил!

Шагали студенты, не разбирая дороги. Шли возбужденные и злые после стычки с полицией.

Людмила Николаевна подняла голову и огляделась по сторонам. Полное оцепление! Пешие городовые. Конные городовые. Пешие жандармы. Конные жандармы. И филеры, их узнать можно за версту. Вот они, гражданские похороны на святой Руси!

Солнце залило ослепительным светом и дома с серебристыми снежными шапками, и золотые купола церквушки, заваленной сугробами. Засияла всеми цветами радуги золотая парча на гробе Шмита. Ожили цветы, казавшиеся восковыми от мороза.

Шли и шли рабочие. В полушубках. В бобриковых пиджаках, в тех, в которые одел дружинников Шмит в декабрьские дни памятного 1905 года. И студенты, закутав лица башлыками.

Смуглый, темноволосый студент, напоминавший покойного Шмита, сдернул шапку, поднял руку. Сильным голосом затянул мелодию:

Замучен тяжелой неволей,
Ты славною смертью почил.
В борьбе за народное дело
Ты голову честно сложил...

И тут вступила тысячная толпа. Запела слаженно, дружно, как отрепетированный хор. Пели не разжимая рта, чтобы не вызвать «нежелательного инцидента», о котором так беспокоился генерал Рейнбот.

Городовой вздыбил лошадь и, резко наклонившись, попытался схватить студента. Лошадь разрезала процессию, произошло замешательство, послышались крики испуганных женщин. Грубая брань городового болью отозвалась в сердце Людмилы Николаевны. Она не покинула процессию, как просила того сестра. Нет, она должна проводить покойного в последний путь. Процессия разомкнулась, и певец исчез, как хороший пловец на гребне волны. Волна подняла его, показала дерзостную силу, ловкость и увлекла в людскую пучину. Многоголосый хор, вкладывая всю силу любви и ненависти, выговаривал:

Служил ты недолго, но честно
Для блага родимой земли...
И мы, твои братья по делу,
Тебя на кладбище снесли...

Слова падали, звеня в морозном воздухе. Каждое слово приобретало вещий смысл. Каждое слово было исполнено горечи и любви. Людмила Николаевна пела вместе со всеми, не отрывая взора от нахохлившихся городовых, безликих солдатских шеренг. Никогда еще она не испытывала такой боли, острой и непереносимой, никогда не испытывала такого могучего чувства единства. Похороны под конвоем. Смерть, заставившая встрепенуться всех. Мир разделен невидимой баррикадой, и равнодушных в этой схватке нет. И потом, в долгие годы изгнанья, она вспоминала похороны, лицо мертвого Шмита, грозное пение...

Процессия продвигалась по Лялиному переулку. Лавки... Трактиры... Все наглухо закрыто ставнями на случай возможных беспорядков. Из проходных дворов, которые охранялись дворниками, прорывались студенты и присоединялись к процессии. Вдоль улиц женщины в платках, надвинутых на глаза. Плачущие. Низко кланялись и беззвучно шептали молитвы. Скорбно, как надорванная струна, звонили колокола Введенской церкви.

Процессия вылилась, как река в половодье, на Каланчевку. Запрудила площадь. Теснила городовых, прижимая солдат-сумцев к вокзалам. Ротмистр в заломленной папахе поднял коня. Лицо злое, глаз подергивался от нервного тика.

— Пре-кра-тить пе-ние... Пре-кра-тить...

Процессия текла величавая и скорбная, обволакивая уличные тумбы и фонарные столбы.

Ротмистр выхватил шашку из ножен и начал резать ею морозный воздух. И опять раздался его нервный и сильный голос.

— Пре-кра-тить пе-ние...

— Бей его... Христопродавец с шашкой у гроба! — старик старообрядец со взлохмаченной головой бросился на офицера и начал стаскивать его с коня. Конь косил кровавым глазом и, пятясь задом, наступал на солдат-сумцев.

Процессия обволокла и рассерженного ротмистра, и старика старообрядца, и вокзалы, и робкие гудки паровозов, и стоянку извозчиков, и дома, залитые солнцем.

Тяжело падали слова:

Вы жертвою пали в борьбе роковой,
Любви беззаветной к народу.
Вы отдали все, что могли за него,
За жизнь его, честь и свободу...





МОСКВА, МАЛАЯ ЛЕСНАЯ

Сущевский полицейский участок помещался на Селезневке. Белый. Высокий. С караульной вышкой. Рядом пожарная каланча на случай пожаров, бывших сущим бедствием для бесчисленных марьинских улочек и тупичков, застроенных деревянными домишками, сарайчиками и конюшнями.

Декабрь выдался снежный и вьюжный. Сугробы прикрыли улицы с дощатыми тротуарами, зажали мостовую у Бутырской тюрьмы, на которой с превеликим трудом разъезжались тюремные кареты. Зашторенные. С железными решетками.

Выкатилось солнце и залило радужным светом дома. Золотым шаром запылала колокольня старинной Пименовской церкви. Ударил колокол, тяжело вздохнув. Прошумев крыльями, поднялись с узорчатых карнизов голуби, оставляя в морозном воздухе белые разводы.

Молодая женщина в темном пальто и полушалке с трудом вытаскивала валенки из сыпучего снега. Ее круглое лицо раскраснелось от мороза и быстрой ходьбы. Ресницы от дыхания покрылись инеем и казались неестественно длинными, оттеняя глаза.

Она почтительно вслушивалась в слова городового, за-

кутанного в башлык, с красным и полным лицом. Городовой шел широким шагом, и женщина спешила, боясь отстать.

— Смотрю на тебя, Дмитриевна, и диву дивлюсь. Баба такая ядреная — кровь с молоком. Статная. Коса до пояса. Да тебя лучшая сваха засватает! И человек стоящий найдется. В летах. С капитальцем.— Городовой бросил острый оценивающий взгляд на женщину.— А ты опять постояльцев пустила... Фабричных...

— Вдовая я, Михаил Пантелеймонович,— пушистые ресницы у женщины затрепетали.— Как жить без постояльцев? Капиталу-то нет. Покойник попивать любил...

— Попивать... попивать... Пфу, бабье проклятое! — Городовой подкрутил ус и нравоучительно изрек: — Не беда, коли в меру: пьян да умен — два угодья в нем!

— Ваша правда... С постояльцев за угол по трешке беру. Деньги на улице не валяются...— Женщина виновато развела руками.— На эти деньги едва концы с концами свожу — детишки-то малые у мамани в деревне...

— Вот купец-то...— Городовой многозначительно посмотрел на вдову.

— Купец по злу на меня наговаривает... По злу! Вдовая я, беззащитная, а он охальник...— Женщина не договорила и, заплакав, уголком платка вытерла слезы.

Городовой смягчился. Взял вдову за локоток. И со смешком заметил:

— Да не верю я купцу. Дикий он от своего богатства. Но в одном прав — постояльцы-то замучили. Которого прописываем в полиции? А сколько без прописки шастают? Злые языки любую напраслину возведут.— Он вразумительно кашлянул и продолжал: — Парней начала приваживать? Пустила бы семейных...

— Семейных? С детками... Да в доме перегородки-то фанерные...— Женщина перестала всхлипывать.— Семейным нужны удобствия, а я угол сдаю. Парни-то не прижимистые. Им и рубахи постираю, и портки залатаю — все лишний пятиалтынный. Руки-то щелоком сожгла, а купец...

— Купец говорит, что ты срамница! В церковь не ходишь, обедни не служишь, свечи угодникам не ставишь...

Женщина смешливо нахмурила брови, улыбнулась так, что городовой не выдержал, хохотнул.

— Конечно, тебе приходится копейки считать. Поста-

вила бы свечу, да купило-то притупило! Парни добрые, ясно на такую красоту падкие...— Городовой вздохнул.— Красу-то не бережешь, Дмитриевна! Грех большой — красота от бога!

— Какая там красота! Скажете...— Женщина смущенно потупила глаза.— Кабы не вы, то и головушки не сносить. Задушил бы злыдень! И на постояльцев возводит напраслину: зачем им нужно, видите ли, каток у колонки устраивать? Нарочно налили воды, мол, чтобы он упал и вместо одного горба получил бы два. Креста на нем нет!

Городовой хохотал. Толстые щеки тряслись от удовольствия. Действительно, горбун злится — такая краля, а никакого внимания на него. Не понимает, старый черт, что ноша-то не по плечу. И слепому видно, что с колонкой-то один наговор. Это хорошо про второй горб. И он опять улыбнулся.

— Почему замуж не идешь? — с нарочитой грубостью осведомился он.— Не век же горевать! Нужно и о себе подумать.

— Кто возьмет вдову с малыми детками? Как Степана придавило машиной на Гужоне, так и бедую! Кому нужна вдовая? — Она опять всхлипнула и смахнула слезу рукавичкой.

— Дура баба и есть дура... И впрямь, что слепая курица — поговорить толком нельзя.— Городовой сердито повернулся к женщине.— И чего это глаза у баб завсегда на мокром месте. Как нужно разговор разговаривать, ума не приложу. Тихая да скромница, а все никак в толк не возьмет. Дело говорю — замуж нужно выходить. И деток поднимешь, и свою жизнь устроишь. От постояльцев проку не будет, а ты сама угодишь в острог.

— Маменька родная...— в голос зарыдала вдова, не обращая внимания на прохожих.— Да кто мне запретит держать постояльцев? Дом-то мой! Муженьком мне оставлен! Взгляните на документики, не прогневайтесь, Михаил Пантелеймонович!

Она остановилась на перекрестке, приподняла юбку, достала сверток из чулка. От волнения и обиды у нее дрожал подбородок и кривились губы.

— Вот дуреха! Всю дорогу богомольцам загородила!— Городовой досадливо махнул рукой. Слез он не переносил.

Богомолки шествовали неторопливо. Молитвенно сло-

жив руки, не поднимали глаз. Одна из них, черная и худая, зашепелявила:

— Не плачь, сестра, из-за антихриста. О, грехи наши тяжкие!..

Богомолка толкнула локтем городового, и тот от неожиданности отступил в сугроб.

— Тьфу, чертова кукла, откуда и силы берутся. Ведьма, сущая ведьма. Ей бы милосердие нести людям, а она коршуном. Да не реви ты, Дмитриевна! Не реви! Разбираться-то мне с купцом поручено.

— Какие слова говорите? Острог да острог... Каждый норовит в меня камень бросить! — Она быстро перекрестилась и обратилась просительно: — Не обессудьте вдовую! Вот трешка. Замолвите словечко в участке. Отцом родимым буду величать, вечерком милости просим на чарочку.

Городовой аккуратно сложил трешку и сунул ее в карман.

— Не плачь, баба! Может, и сватов к тебе еще пришлю. А ты отцом родимым...

Вдова промолчала.

Они свернули на Новослободскую. Сугробы заставляли жаться пешеходов к домам. Около дома купца Курникова городовой остановился. Купец недавно вернулся из святых мест — то ли в Палестину хаживал, то ли в Афон. Сына, студента, причастного к беспорядкам, держали в Бутырской тюрьме.

— Смотри, Дмитриевна, воротила... Богач... А счастья-то нет! Тебе не повезло — мужа схоронила, деток от голодухи в деревню отослала. А каково такому человеку? Ни уважения тебе в Купеческом клубе, ни почтения от компаньонов... Сынок же из арестантов! — Городовой стряхнул снег с башлыка: — Постой здесь, зайду купца проведать.

Она молча кивнула. Вдоль забора щенок с радостным лаем гонялся за кошкой. Кошка, округлив глаза, прижимая уши, свешивалась вниз. Там, внизу, заливался щенок. Ставил на доски толстые лапы, скалил зубы, вываливал красный язык. Кошка изгибалась, перепрыгивала с одной доски на другую. Казалось, вот-вот сорвется и полетит вниз и вновь стрелой взвилась на забор.

Вдова повеселела — столько радости было в этой незамысловатой игре. Она засмотрелась на щенка и кошку

и пропустила момент, когда городовой выкатился из магазина Курникова. От него несло водкой.

— Дитю... Дитю малое и неразумное, развлекается кошками да собаками.

Появление городового, казалось, испугало кошку. Она подпрыгнула, с забора перескочила на дерево. На тротуар упал снежок, легкий, как облачко.

Вдова посторонилась. Мимо нее прошла женщина с бидоном. Высокая. Ладная. С красивым и запоминающимся лицом. Бидон оттягивал руку и был закручен в тряпку от стужи. Глаза их встретились, и молочница прибавила шаг.

— Поди, с другого конца Москвы тащится со своим бидоном. Собственная корова... Деньгу-то лопатой гребет! — не утерпел городовой.

Женщина промолчала. Она проклинала в душе и словоохотливого городового, который таскал ее по участкам, и купца, который свору затеял.

Она плохо слушала городового, который рассказывал ей, что купец Курников от горя ума лишился — ходит по тюрьмам и ведет с заблудшими душами спасительные беседы. И еще купец жаловался ему, что его, купца первой гильдии, не пустили в Бутырки, что сын отказывается выходить к нему на свидание, что надзиратели вконец разорили его взятками, что он решил завалить Сущевскую полицейскую часть колбасами да калачами, назло Бутырке, что не захотела открыть ему двери.

Бутырскую тюрьму окружили высокие стены. Красные. Кирпичные. С караульными вышками, на которых застыли стражники в тулупах, с винтовками. К воротам змеей вилась очередь. Женщины с белыми свертками — бутылкой молока, ситным и запиской каракулями. Среди женщин выделялся молодой человек. В потертой студенческой шинели. Длинными пальцами он растирал побелевшее от мороза лицо. Он также принес передачу и терпеливо ждал своей очереди.

— Шмит Николай Павлович! Миллионщик, хозяин фабрики. Поставщик двора его величества! Докатился барин, докатился! — Городовой повторял те разговоры, что ходили по Москве о молодом фабриканте, студенте Московского университета.— Стал хозяином фабрики. Жалованье рабочим увеличил, пенсии престарелым назначил и подросткам уменьшил рабочий день.

— Разве это плохо? — не утерпела вдова.— Бедным помогает!

— Плохо али хорошо — не нашего ума дело. Главное — не положено! Хозяин есть хозяин. Якшается с мастеровыми. На фабрике ввел восьмичасовой рабочий день. Его пригласили отцы города, внушали, а он кричал о долге перед народом да еще и дверью хлопнул! Каков!

— Решительный, значит! — Вдова внимательно вглядывалась в человека из очереди.— С характером!

— С характером! Из дома родительского переехал в дом присяжного поверенного Плевако, адвоката. От собственного выезда, знатного на всю Москву, отказался, и все пёхом, пёхом — пятак на конку жалеет...

— Жалеет?

— Чудит барин — деньги, мол, не мои, народные! Сам-то из Морозовых, первейших миллионщиков, а всех позорит.

— Из Морозовых? — Вдова всплеснула руками.— Богач!

— Знамо дело богач! Сказывают умные люди, что задумал этот Шмит стать царем, Пока молчок, баба! — Городовой приложил палец к губам.

— Вот те крест! — В глазах вдовы интерес.— Могу и клятву страшную дать.

— Клятву! — Городовой презрительно сплюнул.— Раскинь своим умишком: зачем ему, миллионщику, отказываться от богатства? Деньги губит, хороводится с сомнительными людишками...

— Может, он святой человек! — с неожиданной страстностью выпалила вдова.— И слова о совести, о долге для него святые, не то что для некоторых.

— Не балуй, баба! — огрызнулся городовой.— От постояльцев глупостей набралась. Гляди, тут каторгой пахнет! И передачи носить будет некому. Разве что я приду...

Городовой, довольный шуткой, хохотнул и ущипнул вдовушку за упругую щеку:

— Бежи домой и помни: счастлив твой бог, пока я в участке! Да вечерком нагряну на самоварчик.

Вдова проводила городового почтительным взглядом.

Они собрались в домике на Малой Лесной улице, рядом с Бутырской тюрьмой. Розалия Землячка, Конкордия Самойлова и Мария Дмитриевна. Домик был плохонь-

кий. Задавленный кустами бузины. С покосившимися ставеньками и скрипучими половицами. Клетка с чижом, теплая печка и черный кот.

Висячая лампа отбрасывала яркий круг. На столе чистая клеенка и аккуратные стопки газеты «Известия Московского Совета рабочих депутатов». Бумага шершавая, пахнет краской. Эти бесценные листки от сытинцев через всю Москву принесла Конкордия Николаевна под видом молочницы. Она повстречала Дмитриевну в тот самый момент, когда городовой делал ей очередное внушение.

В Москву Конкордия Самойлова приехала из Одессы. Приехала, как только начались первые волнения. Ввалилась к Зеликсон-Бобровской, отыскав с трудом ее комнатушку у лакея Немецкого клуба. Зеликсон пришлось съехать с роскошной генеральской квартиры свекра — шпики одолели. Рисковать она не могла и ушла в подполье. Сняла угол за печкой. Недоедала, недосыпала, но по-прежнему была приветливая и веселая.

Порасспросив о делах в Одессе, она дала явку к Розалии Самойловне Землячке, члену пятерки по руководству восстанием в Москве, а та послала Конкордию Самойлову на Малую Лесную. Здесь и произошло знакомство Конкордии Самойловой с Марией Дмитриевной, хозяйкой конспиративной квартиры.

Землячка обрадовалась приезду Конкордии Николаевны в Москву. За ее плечами был большой опыт работы в подполье, аресты, побеги. Наступали ответственные дни.

Мария Дмитриевна, казалось, была создана для этой роли — приветливая, тихая, добрая. Для каждого имела она и ласковое слово и добрую улыбку. Она никогда ни о чем не расспрашивала, всегда была ровная и спокойная. Услышав пароль, молча лезла в русскую печь, доставала чугунок с горячими щами. Дружинники приходили и ночами. Приходили голодные, уставшие. Мария Дмитриевна подливала в миску щей, не слушая возражений, и радовалась, видя, как поздний гость опустошал содержимое. Щи она варила особенные — золотистые, с жирком и очень пахучие. Она ставила миски, молча резала крупными ломтями краюху хлеба, разводила самовар. И всем в этом доме становилось тепло и уютно.

Конкордия Николаевна, которой пришлось поселиться

в этом домике, дивилась мужеству этой женщины. Однажды довелось везти браунинги на Пресню. Везти дружинникам фабрики Шмита, прозванного в охранке «Хозяином чертова гнезда». Она уложила браунинги в коробку от торта, обвязала коробку красной лентой, чтобы прикрыть проволоку. И спросила напрямик: «Коли боитесь, то откажитесь — здесь ничего зазорного нет!» И так просто взглянула на нее, что Конкордия Николаевна поняла: мужество присуще этой женщине, как любое другое чувство — зрение, слух, осязание, и она могла только удивляться тем, у которых это чувство отсутствовало.

И еще их сблизил котенок. Простой подвальный котенок. Черный. С тощим хвостом и белым пятном на шее. Она подобрала его в переулке, у типографии Сытина. Котенок замерзал и плакал. Мяуканье она не слышала — просто видела, как котенок открывал рот и высовывал красный язык. Он был таким жалким, что духу не хватило пройти мимо. Присела. Завела с котенком разговор. Котенок заурчал и, выгибая спину, начал ласкаться. Голубые молочные глаза доверчиво смотрели на нее, позвонки просчитывались от худобы. Она не могла оставить его замерзать на улице. Спросила у дворника, надеясь в душе, что отыщется хозяин. Конечно, бездомный. Она и сама была бездомной. Ни паспорта, ни прописки, ни квартиры... Ругательски себя ругая, сунула котенка за пазуху и потащилась по Москве. Зашла по дороге в мясную лавку и на пятак купила обрезки. Как он ел! Давился, урчал, топорщил хвост, взъерошился. Сущий тигренок! Она смеялась, смеялся и толстый мясник, но котенка не взял. И опять она считала версты вместе с котенком. Решила зайти к Зеликсон, но, вспомнив про угол за печкой, постеснялась. Притащила котенка на Малую Лесную. Мария Дмитриевна котенку обрадовалась, лицо ее порозовело от удовольствия. И снова Конкордия Николаевна дивилась ее добрым рукам — она отмыла котенка, напоила молоком и отправила сушиться на печь.

Котенок пел песенки, нрава был добродушного, играл и радовал каждого приходящего. Он потолстел, шерсть его распушилась, и он стал членом большой семьи.

При гостье сидел на краешке стола, смиренником скрестив лапки. Желтые глаза с узкими полосками зрачков затаили хитрость.

— Ах ты тихоня! — обратилась к нему Конкордия Ни-

колаевна.— Скажи лучше, сколько за нынешний день сумел ты напроказничать? Что разбил и что свалил?

— Ведро с водой перевернул. Вода-то была холодная, вот он на шкаф по занавеске и взобрался... Занавеску оборвал, цветок разбил. Герань-то бутонами налилась...— Мария Дмитриевна ласково глядела на проказника. Видно, успела привязаться к озорнику.— Откуда вы, Наташа,— обратилась она к Конкордии, назвав ее так, как называли ее товарищи по партии,— такое сокровище выкопали?

Они смеялись. Котенок вытягивал лапки, пел нескончаемые песенки.

Мария Дмитриевна убирала со стола. Котелок со щами поставила в печь, самовар долила водой. Мог нагрянуть новый посетитель. Морозы-то лютовали в зиму девятьсот пятого года.

Самойлова не знала, чем раньше занималась Мария Дмитриевна. Руки, не приученные к физическому труду, манера держаться просто выдавала человека интеллигентного. Мария Дмитриевна ничего о себе не рассказывала. Как потом упрекала себя Конкордия Николаевна за то, что ничего толком не узнала об этой удивительной женщине! Не узнала, а могла бы...

— И еще документ. «Обращение к рабочим Москвы».— Конкордия Николаевна не любила громких слов, но тут не смогла удержаться: — Послушайте, Мария Дмитриевна:

«Товарищи рабочие, солдаты и граждане!

С 17 октября, когда рабочий класс силой вырвал у царского правительства обещание разных свобод и действительной неприкосновенности личности, насилия со стороны правительства не только не прекращаются, но усиливаются, и по-прежнему рекой льется человеческая кровь.

Свободные собрания, где можно слышать свободное слово, разгоняются оружием. Профессиональные и политические союзы жестоко преследуются. Свободные газеты закрываются уже сразу десятками. За стачки грозят тюрьмой. А над «действительной неприкосновенностью личности» русского гражданина учиняют такие издевательства и насилия, от которых кровь стынет в жилах. Снова тюрьмы наполняются борцами за свободу.

...Если бы собрать всю кровь и слезы, пролитые по

вине правительства лишь с октября, оно утонуло бы в них, товарищи!

Но с особой ненавистью царское правительство обрушивается на рабочий класс. Заключив союз с капиталистами, оно выбрасывает на улицу сотни тысяч рабочих, обрекая их на нищету, болезни и голодную смерть. Оно десятками и сотнями сажает в тюрьмы депутатов и вождей рабочих.

Оно грозит принять против представителей социал-демократической партии и партии социал-революционеров какие-то «совершенно исключительные» меры. Оно снова организует свои черные сотни и грозит новыми массовыми убийствами и погромами. Революционный пролетариат не может долее терпеть издевательства и преступления царского правительства и объявляет ему решительную войну.

...На карту поставлено все будущее России: жизнь или смерть, свобода или рабство».

Действительно, на карту поставлена жизнь. Изнурительна тайная война — слежки, побеги, тюрьмы, подполье, где каждый час равен году. Уйдут в историю тайные явки, хождение по городу с оружием, встречи в полутемных подвалах и на конспиративных квартирах, окрики городовых, облавы, пьяный свист черной сотни, черные вороны, ночные гости. Народ вздохнет полной грудью — начнется новая жизнь, за которую отдали жизни лучшие из лучших.

Мария Дмитриевна тоже молчала. Решительный час был близок. Она сможет оставить квартиру на Малой Лесной, к которой она так и не привыкла, сражаться вместе со всеми.

— Но у нас мало дружинников,— подумав, ответила она Самойловой.— Народ, конечно, поддержит, когда начнется восстание. А пока дружинников тысячи две. Лучшая на Пресне у Шмита. А против нас войско... Кадровое, обученное.

— Не будем сбрасывать со счета баррикад. Баррикады способны на какое-то время сдержать натиск казаков. Тактика дружинников должна носить партизанский характер, действовать маленькими неуловимыми группами.— Самойлова говорила горячо, словно продолжала спор о тактике уличных боев, который она вела в последние дни в Московском комитете.

— Безусловно, меньшевики не поддержат восставших.— Мария Дмитриевна наморщила лоб и с болью добавила: — Мало, очень мало дружинников.

— Но ведь дружинники могут действовать, как я уже сказала, неуловимо.

— Как бы мне хотелось быть там, с ними, с оружием в руках.

— Оружие... С оружием плохо. Сытинцы вооружились пиками да кинжалами. Ковали их ночами.— Землячка взглянула на Конкордию Николаевну, которая вслушивалась в их разговор.

— А здесь, на Малой Лесной, так тихо, словно в городе ничего не происходит,— удивилась Конкордия Николаевна и подошла к окну.

— С темнотою и домик наполнится.— Мария Дмитриевна взглянула на часы.— Наташа, пора. Там за перегородкой ротонда. Роскошная. Барская. Повезете оружие на Пресню.— И, заметив, что ротонда смутила Конкордию, добавила: — Молочницей не пройти. Любой драгун остановит.

— Черт с ней, с ротондой. Обряжусь. А вы обращение городского комитета раздавайте курьерам вместе с оружием! Хорошо? — Конкордия Николаевна взяла на руки котенка.— Пора, Вася, пора...

С грустью опустила котенка на пол. Тот зевнул, показав острые зубы, замурлыкал.

Стены чуланчика были оклеены цветными картинками из журнала «Нива». Вот картинки с театра военных действий русско-японской войны. Офицер с черной повязкой — он потерял глаз на войне, рука на перевязи. Он протягивал костыль и патетически восклицал, обращаясь к убитым горем родителям: «Ваш сын пал смертью героя!» Вздохнув, Конкордия Николаевна закрутила волосы в узел перед осколком зеркала, напудрила нос. Рассмеялась — и все для того, чтобы обрядиться в ротонду с чужого плеча! Ба, осунулась-то как! Все от недоедания да беготни по городу. Она надвинула на лоб крошечную меховую шапочку. В такой мороз — и расставаться с платком!

Котенок мирно мурлыкал, словно уговаривал не уходить в темноту, а забраться на печку, где тепло и уютно, где можно видеть сладкие сны.

— Конечно, ты, Васька, прав,— Конкордия Нико-

лаевна нагнулась, почесала котенка за ухом.— Мороз на дворе, но дело есть дело! Ты пока повесели Марию Дмитриевну, а я мигом... И тогда мы завалимся на печку, и ты будешь рассказывать свои сказки... Так-то...

В дверь тихо постучали. Мария Дмитриевна неслышным шагом — Конкордия Николаевна подивилась, как неслышно она ступала,— подошла и отодвинула ситцевую занавесочку. В глазах настороженность, но улыбка, которой она обменялась с нею, была спокойной.

И действительно, в дверь ввалился парень. Стянул ушанку и восторженно объявил:

— Началось, товарищи! — и опустился на стул не в силах побороть усталость.

Котенок вспрыгнул ему на колени.

— Вы откуда, товарищ? — Конкордия Николаевна распахнула ротонду и присела перед дорогой.

Мария Дмитриевна громыхала затворкой печи, вытягивала ухватом чугунок. Она поставила миску на стол, налила в нее щей. Посыпала солью ломоть хлеба и пододвинула парню. Вопросов не задавала — ждала, пока придет в себя.

— Началось! — Парень вкладывал в эти слова особенный смысл.— В городе растут баррикады. Женщины, старики, дети тащат все, что под руку попадет. Я от сытинцев. И там баррикада! Против десятка дружинников, засевших в типографии, двинули две роты пехоты, эскадрон драгун и два орудия! Типография начала гореть. Кто-то вызвал пожарников, но офицер не давал погасить пожар! Хотел, чтобы дружинники сгорели. Зверье!

— Зверье! — подтвердила Самойлова.

— Оружия мало! Давайте оружие! — Парень уже обращался к Марии Дмитриевне.

— Мало оружия... Мало...— согласилась та.— Но ты не самоуправствуй! Я кому приказано, тому и даю оружие. Давай документ! — И с болью закончила: — Денег мало, а то бы за границей можно было закупить.

— Транспортировка больших трудов стоит,— отозвалась Землячка.

— Кстати, по Москве катит возчик с дровами.— Парень хитро прищурил глаза.— За мзду и разгрузить помогу!

— Хитрюга! — Мария Дмитриевна оживилась.

— Значит, и мне можно помочь.— Конкордия Николаевна решительно отложила коробку с тортом.

— А ротонда? — спросила Мария Дмитриевна.

— Повешу на место,— ответила Конкордия Николаевна.— А заодно стемнеет, легче на Пресню будет пробираться.

Конкордия Николаевна ушла за перегородку, стала ждать.

Подводу разгружали споро. Возчик в тулупе засунул рукавицы за кушак и громко канючил деньги на водку

Дрова свалили около домика. Убирали в сарай, заваленный снегом. Никто не знал, что среди березовых полен находились и три ящика с патронами. Возчик и дружинник их мигом втащили в дом.

Купец-недруг вышел на крыльцо, но, кроме громкой ругани да грохота обледеневших поленьев, ничего не приметил.

— Хозяюшка, дай на шкалик! — не унимался возчик.— Не сахарные и не беда, коли промерзли. Бей в доску́ — поминай Москву!

И опять перекатывались со стуком поленья, хрупала овес лошаденка, засунув голову в торбу.

Самойлова из дома не выходила. Смотрела в оттаявший кружок на стекле.

— Избу крой, песню пой, а шесть досок на гроб паси! — балагурил возчик.

— Типун тебе на язык! — Мария Дмитриевна сердито одернула возчика.— У меня дети малые, а ты беду кличешь!

— Такая житуха, что и от смерти не отмахнешься! — Возчик уже обращался к купцу, что торчал на соседнем крыльце.— Правда, отец?

Купец поманил возчика пальцем и, перекрывая грохот летящих поленьев, попросил:

— Может, и мне дровишек за трешку? Может, уступишь?

— Вдовая и та взяла, а ты торги разводишь! — Возчик сноровисто кидал поленья в сарай.— Посторонись, отец, ненароком в голову можно попасть.

— У вдовы постояльцы молодые,— гаденько хихикнул купец, зло покосившись на соседку.

«Марию Дмитриевну нужно убирать от проклятого купца.— Самойлова с тревогой вслушивалась в перебран-

ку.— Но где сейчас отыскать дом для конспиративной квартиры? С подвалом. С двумя выходами. Здесь и проходные дворы на Лесную, и на Долгоруковскую, и на Сущевский вал. Да, придется потерпеть».

— Хозяюшка, дай водицы испить! — Возчик снял треух и обтер им лоб.— Пар валит, как от лошади!

— Милости просим в дом! — приветливо отозвалась Мария Дмитриевна.— И погорячее водицы сыщем напиток.

Мария Дмитриевна и возчик вошли в дом. Дружинник быстро кидал поленья в сарай. Купец топтался на крыльце. И опять доносилась до Конкордии Николаевны перебранка:

— Зря напраслину возводишь! И зачем тебе, отец, та колонка-то? Работников полон дом, а ты при таком богатстве надумал ведра с водой носить! Курам на смех! Нет, отец, тебе вдова приглянулась, вот и поскользнулся на льду... А все кричишь, что постояльцы виноваты! Грех на душу берешь!

— Бандиты... Охальники...— не унимался купец.

Мария Дмитриевна накинула на дверь крюк. Возчик торопливо переставил стол и ногой откинул половик. Показался квадратный люк. Мария Дмитриевна кочергой потянула дверцу люка. Самойлова поднесла зажженную керосиновую лампу. Возчик взвалил на плечи ящик и осторожно начал спускаться в подпол. Все молчали. По стене передвигалась тень от лампы, уменьшаясь по мере того, как возчик спускался по ступеням.

Лампа стояла на краю люка. Самойлова заглянула вниз. Подвал оказался просторным и сухим. Ящики, ящики, ящики... Под брезентом винтовки, охотничьи ружья. Богатство, настоящее богатство! Мария Дмитриевна волоком подтаскивала на половике второй ящик к люку. Возчик поднялся по ступеням и принял ящик. И опять начал медленно погружаться, словно осторожно прощупывал ногой глубину в озере. И снова подтаскивали ящик к открытому люку. И снова возчик опускал его в подвал.

— Патроны? — не вытерпела Розалия Самойловна.

Возчик кивнул. Шея покраснела от натуги. На стене уменьшилась его тень. Мария Дмитриевна, согнувшись, светила лампой. От лампы падали блики на лицо молодой женщины, побледневшей от волнения. У Самойловой защемило сердце.

Наконец возчик вылез из подвала. Закрыл крышку люка и поставил на место стол. Мария Дмитриевна ловко подсунула половик. Возчик улыбнулся, словно с его плеч спала тяжелая ноша.

Мария Дмитриевна сняла с двери крюк. И сразу преобразилась — порозовела, заулыбалась. Подала возчику кружку воды. Он пил большими глотками, как пьют после тяжелой работы. И даже от удовольствия хлопнул Марию Дмитриевну по плечу.

Он с шумом распахнул дверь, словно хмельной. И в дом ворвался визгливый голос купца:

— Опять залили колонку водой?

— Посылай впредь свою кухарку с толстым задом. Порастрясется, чай! — Парень переругивался беззлобно.

В ответ полетела кастрюля! Значит, и кухарка начала отстаивать свои права. Конкордия Николаевна и Розалия Самойловна молча переглянулись. Баталия, настоящая баталия.

— Нашел бездельницу, бродяга! — кричала кухарка.

И опять в воздухе пронеслось что-то блестящее.

— Эй, баба, побереги свои кастрюли... Лучше бы чарочку поднесла! — Возчик вытер усы и крякнул от удовольствия.— А ты, хозяин, на завтра шкалик готовь.

— Шкалик? Ах ты сукин сын! — кричал купец, стараясь подальше держаться от кухарки.

Возчик снял с лошади торбу, уложил оставшийся овес и поклонился Марии Дмитриевне.

Конкордия Николаевна снова надела роскошную ротонду. Она взяла коробку с браунингами, и вместе с Землячкой они растаяли в темноте.

Вот и наступила минута, в которую верила и не верила Мария Дмитриевна. В домике ярко горел свет. Городовые принесли от купца десятилинейные лампы. Дворник, белобрысый Степан, трясущимися руками держал лампу-молнию.

Мария Дмитриевна стояла у распахнутого люка в подполье.

По половицам громыхали сапоги городовых. Напротив, за столом, пристроился ротмистр.

— Будете отвечать на вопросы?

Мария Дмитриевна с удивлением следила за всем

происходившим. На лице не было волнения, одна забота и грусть. Значит, конспиративная квартира рухнула и склад оружия, принадлежавший Московскому комитету партии, провалился. И ящики с патронами, и бомбы, и винтовки, которые не успели вынести курьеры и дружинники, все это бесценное богатство стало добычей охранки. И в такие дни. Как могло такое приключиться? Она сражалась с курьерами за каждую винтовку, за каждый патрон, как Кощей Бессмертный охраняя свои сокровища.

— Господин ротмистр, здесь бомбы...— Голос глухо доносился из подвала.

— Осторожно, осторожно, черт возьми! — Ротмистр перешел на другую сторону.— Значит, жили на пороховой бочке? Кто вы? Фанатичка или душевнобольная?

Она молчала. Молча смотрела на крикливого ротмистра, дрожавшего от страха дворника, на топтавшихся городовых.

— Возможно, вы не знали,— ротмистр едко выговаривал слова,— где вы находились и что грозило вам?

— Нет, почему же? Я понимала всю ответственность,— возразила Мария Дмитриевна.

— Ответственность? Смертельную опасность. Вы же каждую минуту могли взорваться. Спать на динамите? Жить на складе оружия! Да вы понимали, где вы находитесь? Эй, поручик, поаккуратнее! Черт бы вас побрал!

Наконец из подпола вылез и поручик. Белый как полотно. На мундире следы извести.

— Нужны минеры. Там и запалы к бомбам, и динамит, и порох... Такого склада я еще не встречал. Хранение дикое — диво дивное. Как все это хозяйство не взлетело на воздух?..

Ротмистр приказал Марии Дмитриевне поднять руки и заложить их за голову. Усадил с пистолетом городового, того самого, Михаила Пантелеймоновича, который все поучал красивую вдовушку. Тот смотрел на Марию Дмитриевну, в его воображении образ безответной вдовы никак не уживался с террористкой, которая с таким бесстрашием в течение длительного времени жила на пороховом складе, спала на бомбах, укрывала дружинников. Он держал револьвер со взведенным курком и не мог посмотреть ей в глаза. Через распахнутое окно — кто-то из злоумышленников выпрыгнул в темноту — тянуло холодом.

Мария Дмитриевна не замечала городового, как не замечают никому не нужную вещь. И странное дело, это его обижало.

Он очень удивился, когда в Сущевскую полицейскую часть наехало начальство и стало готовить сложную операцию: проверяли оружие, брали усиленную охрану, опытных полицейских. И наконец, назвали адрес: Малая Лесная. Там якобы помещался склад боеприпасов бунтовщиков. Он хотел полюбопытствовать, в каком именно доме, но начальство так суетилось и нервничало, так боялось, что боевики откроют ответный огонь, что он не мог подступиться с расспросами. Его взяли с собой. И по дороге к Малой Лесной он мысленно перебирал все дома, куда они могли направляться, но так ничего и не придумал.

Домик Марии Дмитриевны светился одним окошком. Тихо лаяла собака у купца-соседа да поскрипывал снег под ногами. Домик окружили бесшумно, команду передавали шепотом, его подтолкнули к двери. Он позвал хозяйку. И сам начал волноваться, видя, как ротмистр доставал револьвер из кобуры.

На стук ответила Мария Дмитриевна. Удивилась позднему визиту и попросила его подождать.

Загремела дверь в сени, распахнулось окно. Тишину взорвал выстрел, и чья-то тень промелькнула над сугробом. Ротмистр, отшвырнув городового, ворвался в домик.

Мария Дмитриевна спокойно стояла посреди комнаты. В черном платье, на плечах пуховый платок. Она подобралась, стала выше ростом и хладнокровно смотрела, как домик наполнялся жандармами. В глазах ее он прочитал презрение за низость, с которой он использовал их знакомство. Красота ее поразила даже ротмистра. Михаил Пантелеймонович ротмистра знал давно и отметил, что тот без привычной брани обратился к женщине.

Мария Дмитриевна молча взирала на все происходящее. Высокого роста, с тонкой талией, русые вьющиеся волосы тугим узлом стянуты на затылке. Красивое лицо исполнено достоинства. На маленьком подбородке родинка: Густые брови дугой. И глаза лучились таким светом, словно ей была известна правда, недоступная ни ротмистру, ни ему, городовому.

И было странно, как мог он эту интеллигентку принимать за простенькую вдовушку.

Ротмистр брезгливо сбросил котенка со стола. Котенок зашипел.

На столе появилась стопка чистой бумаги. Ротмистр принялся составлять протокол. Он пока не приступал к допросу и со слов поручика вел долгую опись всего, что обнаружили в подвале.

Обыск был тщательным. Выпускали пух из вспоротых подушек, поднимали половицы, сбросили икону, выдрав ее из оклада, перевернули сундучок, перетряхивали книги, обрывали с них корешки.

И все это не имело ни малейшего отношения к Марии Дмитриевне. Она стояла безучастной и немой свидетельницей всего происходящего. Только один раз дрогнуло ее лицо, когда котенок начал тереться о ее ноги. Он пел свою песенку, веселую и беззаботную.

Ротмистр носком сапога отбросил котенка, и тот полетел в угол. Михаил Пантелеймонович этого не одобрял — тварь-то божья при чем здесь?

— Имя? Фамилия? Место рождения? — начался допрос.

Женщина молчала.

— Имя? Фамилия? Место рождения? — Ротмистр начинал нервничать.

Кажется, она улыбнулась только краешком губ или это кто-то качнул лампу.

— Откуда оружие? — Ротмистр сыпал вопросы, не давая возможности женщине прийти в себя — так его учили вести допросы.— Кому принадлежит склад боеприпасов?

Она молчала. Лишь голова ее, выхваченная сильным светом, чуть наклонилась вперед.

— Имена соучастников? — Ротмистр переложил револьвер на другой край стола.— Не сами, надеюсь, доставляли оружие? Значит, вам его доставляли? Кто и откуда?

Она молчала. Презрение, как облако, промелькнуло на ее прекрасном лице.

— По законам военного времени — Москва на чрезвычайном положении — я должен расстрелять вас без суда и следствия. Вы меня слышите?!

— Разумеется, я вас слышу,— тихо и внятно ответила она.

Сказала она это так неожиданно спокойно, что ротмистр опешил.

«Да, смертница... Смертница...— ахнул про себя Михаил Пантелеймонович.— Одна решила муку принять».

— Предупреждаю, вас могут спасти лишь откровенные показания. Конечно, наказания не избежать, но вам будет сохранена жизнь!

Голос ротмистра зазвенел. В его голове не укладывалось, как молодая женщина может не дорожить жизнью.

— Ваша игра проиграна.

— Я не игрок!

Ротмистр закурил.

— Я еще раз призываю вас к благоразумию — о вашем геройстве ведь никто не узнает.

Женщина молчала.

— Подумайте, завтрашнего дня уже не будет! У вас есть близкие, есть, вероятно, родители, которых убьет известие о смерти дочери.

Она почувствовала, как онемели запрокинутые за голову руки, как учащенно забилось сердце. Матушка, ее милая матушка, что с нею будет? Поймет ли она, простит ли?

Из задумчивости ее вывел голос ротмистра. Этот голос мешал ей сосредоточиться, пребывать в том умиротворенном и спокойном состоянии, в котором она готовилась принять смерть.

Она взглянула на ротмистра с укором — к чему вся эта суета? Вряд ли он надеется получить от нее какие-либо сведения. Он достаточно умен. Но Пантелеймонович-то каков? Подкрался, попросил отпереть дверь. Гадость-то какая! Впрочем, какое это имело значение? Бомбы она все равно не стала бы бросать. От яда отказалась, считая такую смерть позорной. Нет, она встретит смерть лицом к лицу, как боец. Совесть ее спокойна, и жизнь прожита честно. И еще сквозь крики жандармов выплыл голос курьера, того самого парня, что разгружал дрова. Он уговаривал ее бежать, выпрыгнуть в окно, уверенный, что задержит жандармов. Нет, жертвы она не приняла. Она была хозяйкой конспиративной квартиры, и ей следует держать ответ.

И снова в раздумья ворвался скрипучий голос ротмистра.

— Мария Дмитриевна, я позволю называть вас по партийной кличке, так, кажется, вас зовут, одумайтесь... Вы редкого бесстрашия женщина и играли видную роль

в подполье. Показания ваши оказали бы неоценимую услугу.

— Оценимую предательством!

Ротмистр поднял руку, чтобы остановить ее:

— Как человек интеллигентный, вы понимаете, что идея свержения самодержавия толпой плохо вооруженного сброда — бредовая! К чему ваша жертва?

Она молчала.

— Я солдат и не могу нарушить приказ: в назидание всем бунтовщикам за учиненные преступления — расстрел без суда и следствия! — Ротмистр положил часы на стол.— Даю на размышление десять минут. Через десять минут приговор будет приведен в исполнение.

В домике на Малой Лесной улице повисла тишина. Все молчали. Ротмистр курил, пуская кольца дыма. Белобрысый дворник Степан мелко крестился, шепча молитву. У городового Михаила Пантелеймоновича дрожали колени, липкий пот застилал глаза. Поручика бил мелкий озноб, холодом сжимало виски. Жандармы, стоявшие по стенам домика, недоуменно смотрели на женщину, не веря, что они сейчас будут не только свидетелями, но и участниками убийства.

Она не пыталась разобраться в своих чувствах. Сердцем слушала ход карманных часов, отсчитывающих секунды.

Черный котенок жался к ее ногам.

— Время истекло! Итак, государственная преступница под кличкой Мария Дмитриевна по законам о чрезвычайной охране за незаконное хранение оружия подлежит расстрелянию... Приговор окончательный, обжалованию не подлежит и будет приведен в исполнение без промедления.

Предстояло стрелять в безоружного человека, да еще женщину. Отвисла челюсть у околоточного, который давно уже засунул револьвер в кобуру, хотя и должен был держать его наготове, отвел глаза поручик, испуганно закрыл руками лицо дворник, бессвязно шепча молитву.

Мария Дмитриевна в упор взглянула на ротмистра. Именно он и будет ее убийцей. Она поняла это по глазам, поняла по тому движению, которым он размял папиросу.

Она гневно выпрямилась. Лучистые глаза встретились с глазами ротмистра. Она пошире расправила плечи и с

презрением в упор смотрела на офицера. И он не выдержал этого взгляда. Он поднял револьвер и нажал курок.

Она качнулась и с недоумением посмотрела на своего убийцу. Тот что-то закричал и выпустил одну пулю за другой. Она медленно оседала на пол, оседала неохотно, не веря в случившееся...

Самойлова с бьющимся сердцем подошла к дому на Малой Лесной улице. Двери были распахнуты. На крыльце сидел полузамерзший черный котенок с белой звездочкой на лбу.





КУЗЬМИНИЧНА

В дверь постучали. Пожилая женщина перекрестилась. Настороженно оглядела комнату. Всплеснула руками. Выхватила из-под клеенки паспорт, повертела его в руках и засунула в корзинку, прикрыв нитками. Потуже затянула узел платка. Прихрамывая, вышла в сени.

— Слышу... Слы-шу...— старческий голос дрожал.— Кого принесла нелегкая?

— Отопри, бабка! — повелительно прокричали из-за двери.

— Ась?..

— Отопри, старая ведьма!

— Может, ты разбойник... Ишь как ломишься...— Она сноровисто рассовывала листовки в мешки с картошкой.

Старуха не торопилась открывать дверь. Она слышала дыхание людей, притаившихся у парадного, шарканье сапог и звон шпор.

— Открой, Кузьминична, телеграмма,— прошепелявил неуверенный голос.

— Никифор? Пошто сразу не отозвался? — Старуха сняла крюк, отодвинула задвижку.— Телеграмма... Знамо дело...

Дверь рванули, старуха, не удержавшись, упала. В сени ворвались городовые. Она поднялась, присела на широкую лавку, потерла ушибленное плечо. С укором поглядела на дворника:

— Эх, Никифор... До нас люди жили — много наговорили, не помрем, так и мы поврем... Телеграмма... Пфу...

— Так приказали, Кузьминична...— оправдывался дворник, ставя на место ведро, опрокинутое городовыми.

Унтер, хлюпая сапожищами, вбежал в горницу. Осмотрелся. Квартира была небольшая, из двух комнат, таких квартир за Невской заставой пруд пруди. Низкая, с дешевенькими обоями. На окне клетка с чижом. Птица сердитая, нахохлившаяся.

— Хозяйка? — Унтер воинственно громыхнул шашкой.

— Я хозяйка,— с достоинством ответила женщина.— Не кричи так громко: недавно старика схоронила.

Кузьминична указала на портрет в черной раме с бумажной розой в уголке.

— Святая правда, господин унтер.— Дворник перекрестился.

Унтер снял фуражку и тоже размашисто перекрестился. Покрутил усы, спросил:

— Постоялец Сусский где проживает?

— Здесь, батюшка... Здесь... Это и Никифор подтвердит.

— Знамо здесь,— ухмыльнулся унтер.— Коли не знали, не пришли бы.— Он помолчал и с сердцем закончил: — До чего же бестолков народ... В этой комнате али в другой?

— Пожалуйте, батюшка.— Старуха толкнула дверь, скрытую ситцевой занавеской.— Жилец они аккуратный, за фатеру платят справно. На заводе их уважают.

— К плохим не ходим, мать,— хохотнул унтер и подмигнул городовому: — Обыщи комнату, да получше... Стены простучи!

Старуха направилась следом за городовым, но унтер остановил ее. Сел на венский стул, поманил пальцем.

— Ты мне, сынок, словами говори. Я тебе не то что в матери — в бабки гожусь. Сам развалился, словно барин какой, а старую на ногах держишь! За человеком пойду:

в комнате чужие вещи, долго ли до греха. Отвечать за все мне одной, вдовой, кто-то теперь защитит...

Кончиком платка она вытерла слезы. Унтер смущенно кашлянул.

— Сидоров, приступай! Ференчук, займись сенями да сарай не забудь! — И, увидев, как неодобрительно поджала губы старуха, пояснил: — Обыск, значит, по всей форме...

Старуха скрестила на груди худые руки и запричитала:

— Нету моего заступника, нету моего кормильца...

— Обожди, мать! Не убивайся! Кормильца не вернешь...— Унтер смягчился: — Плачь не плачь, а все там будем... Когда постояльца в последний раз видела? Кто к нему ходит? Не говорят ли о политике?

— Бог с тобой! Когда ему о политике толковать — от зари до зари на заводе, а в праздник норовит мне подсобить: то дровишек наколет, то воды принесет, то на Неве белье пополоскать поможет. Живу-то стиркой на чужих людей... Постоялец старость уважает, он бы не заставил стоять вдовую — стульчик бы придвинул.

— Садись, старая, конечно, в ногах правды нет! Только расскажи, кто с ним дружбу водит... Может, какие недозволенные речи слышала...

— Да никто к нему не ходит. С ребятишками в лапту играет на праздниках. Обожди, голубчик, запамятовала: приходил как-то мастер Петр Иванович, просил в церковном хоре петь.— Старуха торжествующе посмотрела на унтера: — Разве плохого человека пригласят в церковный хор?

— Может, ночами книги читает да при закрытых ставнях?

— Нет, больно поспать любит. Да и так сказать, от работы косточки ноют — постой-ка целый день у станка! Мой покойник, царство ему небесное, бывало, как придет домой, так сразу в постель — мочи нет... А был посильнее жильца моего.

— Да что ты все о покойнике! Лучше припомни все, что знаешь о жильце своем.

— Хорошо, батюшка, сейчас. Очень они селедочку любят, только вымоченную. Беру у купца Семенкина на грош пару... Замочу в теплой водичке ту, что пожирнее,— старуха говорила медленно,— не в холодной, как все, а в

тепленькой... Они придут с завода и сразу за селедочку... А меня-то как благодарят...

— Ладно, ладно, бабка! — поднялся унтер.

Кузьминична прошмыгнула за унтером в комнату, занимаемую постояльцем. Городовой, толстый и неповоротливый, лежа на полу, пытался из-под кровати вытянуть сундук. Унтер подал ему кочергу. Тот, зацепив сундук за ручку, потянул на себя. С сундука сбили замок, распахнули крышку, обклеенную пестрыми картинками. Вытащили черную пару, пахнувшую нафталином, проверили карманы. Перебрали рубашки, полотенце. Хотели выломать дно у сундука, но старуха подняла такой крик, что отступились, благо подозрительного ничего не обнаружили. Простукивали стены, отыскивая тайник. Раскачивался абажур из цветной бумаги, причитала старуха... Пытались крючьями поднять половицы — Кузьминична легла на пол и заголосила.

Унтер, красный и злой, ругался что есть мочи, но уступал — в доме только что был покойник, но главное, старуха не давала шагу шагнуть, грозила, проклинала, плакала. Наконец унтер не выдержал, плюнул:

— Уважили тебя, вдовую. Но придется оставить на несколько дней Сидорова и Ференчука. Будут встречать всех, кто станет спрашивать жильца твоего. Ты не перечь, а то упечем куда следует.

Кузьминична не сдавалась:

— У меня, вдовой, оставить охальников, да что люди добрые скажут? Срам-то какой... Может, и кормить своих обжор прикажешь? Нет уж, побегу к отцу Павлу... Обижать старую и вдовую — великий грех...

— Пфу, старая карга! — зло выругался городовой.

— Бери, бери своих архаровцев... Людей позову! — Старуха набросила на плечи пальто.

— Да уймись ты, проклятая! — Унтер снял фуражку и платком вытер вспотевший лоб.— Сидоров, Ференчук, займите пост... Утром сменят.— И сердито погрозил пальцем: — Не блажи... На стук будут подходить городовые, а ты ни звука.

— Так и буду молчать в собственном-то доме? Покойник его по бревнышку собирал, по гвоздику копил...

Старуха сжалась, худые плечи ее затряслись, и она

горько-прегорько зарыдала. Унтер хлопнул дверью. Дворник стянул картуз, поклонился. Городовые уселись на табуретках в комнате постояльца.

Хрипло пробили ходики. Кузьминична подтянула гири и, достав из корзины моток шерсти, подсела к окну, принялась за носок. Улочка была пыльная, мощенная редким булыжником. Она видела согнутую спину Никифора, который вышел на середину дороги, чтобы проводить унтера.

Мысли-то какие невеселые... Сегодня в доме собрание. Обычно ее не предупреждали из комитета — приходили люди и молча садились. Да и она никого не спрашивала. Только утречком дочь просила передать паспорт Елене. А раз придет Елена, значит, соберутся и рабочие. С паспортом целая история — мать достала у знакомого фельдшера за деньги. Фельдшер-то пьяница, вот за шкалик и отдал ей паспорт умершей, чтобы не тащиться в полицию. Паспорт настоящий. Мать все знала. Слава богу, не простушка. Как-то там его смывали, наносили новые приметы. Эту науку сердцем постигала. Старший сын на каторге, теперь о дочери забота. Квартирой распоряжался комитет. Правда, дочь сказала, что постояльцев будет подбирать сама, но мать не проведешь.

Старые, крючковатые пальцы перебирают спицы, словно нанизывают думы на одну большую материнскую боль. Старик ждал сына перед смертью. Грешница, все обманывала его, обнадеживала. А как вызволить сына, когда дали ему пятнадцать лет каторги в Акатуе! Мать вынула спицу и почесала ею голову. Дочь говорила о паспорте Елены. А засада... Как Елену-то уберечь? Познакомились они недавно, а за сердце взяло. Особенно хороши глаза — серые, под пушистыми ресницами. Густые, сросшиеся брови и чуть вздернутый нос. Легкие светло-каштановые волосы падали на высокий лоб. Держится просто, приветливо. Всегда руку подаст, о здоровье справится да и гостинчик принесет: то тульский пряник, то сушки. Подарки невелики, но дорого внимание.

О чем она говорила с рабочими, мать не знала, только споры всегда заканчивались, когда слышался ее ровный голос. Мать понимала, что Елена повидала многое: и тюрьмы, и Сибирь... Дочка так просила быть осторожной,

когда Елена приходила в дом. Значит, нелегальная. Старуха задумалась: нелегальная, а где-то у нее самой мать? Мается, наверно, горемычная, за судьбу своей дочери. Вот она, материнская доля: растишь, куска хлеба недоедаешь, свету белого не видишь, а потом об этих заботах вспоминаешь с радостью — приходит иная боль, а то и горе захлестывает сердце. Как же сделать, чтобы Елена в засаду не попала? И опять крючковатые пальцы торопливо перебирают спицы. Петля... петля.. петля.. И то, чего так боялась старуха, случилось. На улочке показалась Елена. Одета просто. Ситцевая широкая юбка, кофта с буфами. Словно горничная из хорошего дома. Остановилась у ворот, нагнулась, будто завязывая шнурок на ботинке, а глазами быстро окинула двор.

Кузьминична, отложив вязанье, хотела стукнуть в окно, но поднялся тощий сыч — городовой Сидоров. Даже рот открыл от радости.

Старуха заторопилась в сени. Городовой следом. Она сердито загремела кружкой, наливая в таз воду.

Елена дернула ручку звонка. Раз... Два.. Городовой зашипел на нее. Старуха отпихнула его, открыла задвижку. Спрятался, дурень, за дрова и подавал оттуда какие-то знаки. Она плюнула и распахнула дверь.

Улыбка озарила лицо Елены. Беззащитная в западне! Теперь все зависит только от нее самой. Подумала и с криком бросилась Елене на грудь:

— Крестница, дорогая... Несчастье-то какое... Беда горькая... Схоронили нашего Семена Лазаревича...— Рыдания захлестнули ее.— Нету теперича у тебя отца крестного... Осиротела ты, пташечка..

В серых глазах Елены не только сострадание, но и тревога. Она целует старую женщину. Оглядывается. Кузьминична увлекает девушку в горницу и добавляет:

— Посиди со мной, милая. Просо ветру не боится, а морозу кланяется — так и я горю покорюсь.— Старуха поворачивается и смотрит на сердитое лицо Сидорова.— Тут унтер городовых оставил, кого-то караулят... Извели совсем...

Городовой выходит из засады и молча вглядывается в Елену. Старуха сердится:

— Иди-иди отсюда! Ко мне крестница пришла. Посидим, потолкуем, а ты своих гостей сам дожидайся.

У Елены приветливое лицо, а на душе тревога. Заса-

да... Паспорт фальшивый, как-то все обернется? Сколько мытарств за эти месяцы пришлось испытать! Ночевки на явках, боязнь подвести людей, оказавших приют

Сначала Самара. Пробыла там несколько дней, хотела добыть паспорт. Но в Самаре достать паспорт не удалось. Она едва не попала в облаву. Явка оказалась проваленной, а организацию арестовали — выдал провокатор. Из Самары переехала в Нижний. Приехала, а на Волге разлив. Явочная квартира была в обсерватории. В город запретили выходить, сидела на башне и любовалась невиданным зрелищем — грохотали волны с белыми барашками да крушились льдины, словно ее надежды. Паспорта не достали и в Нижнем. С трудом переправили ее в Минск. Товарищи удивлялись: с фальшивкой чуть ли не пол-России объехала. И только в Минске удача — удалось получить фальшивый паспорт самарской мещанки Надежды Ивановны Дворянкиной. Петербург был закрыт косым дождем, когда она встретилась на явке со Стасовой, секретарем комитета, известной в партии под кличкой «Абсолют». Стасова предложила выехать: готовилась первомайская демонстрация и в городе шли обыски и облавы. Пережидала это время в Пскове. Белыми ночами приехала в Петербург. В доме за Невской она вела кружок. Собирались рабочие Обуховского завода, читали «Искру». Паспорт Надежды Ивановны Дворянкиной был плохой защитой, а тут явилась возможность достать настоящий...

Надтреснутый голос городового вернул ее к действительности:

— Значит, крестница?

— Да, крестница... Горе-то какое...

— Откуда будете?

— Питерская. Горничная генерала Садурова... Вчерась вернулась из имения под Нарвой, о похоронах и не знала.

— Документики при себе?

Старуха взъярилась от обиды. Кинулась защищать. Голос от волнения срывался:

— Это ты брось! В моей фатере да над сродственниками насмешки строить? Какие документики нужны, коли она к крестной едет? Сдурел, что ли! Документики! Тоже чего надумал! — Она гневно продолжала кричать: — Ее тут каждый знает — и девчонкой гостила и барышней

не забывала... Сказано тебе: жди своих гостей, а к моим не липни!..

Сидоров мнется, а его напарник, Ференчук, добродушный верзила, говорит миролюбивее:

— Брось, Петро! Баба она лютая, а тут правду говорит Лучше давай чайку сгоняем да в картишки перебросимся...

— Конечно, нет проку в речах, коли делу не быть.— Старуха направилась к посудному шкафчику.

Шкафчик был самодельный. Застекленные дверки закрашены белилами. Звякнула пузатыми чашками. Выставила их на стол. Достала ржаной пирог, завернутый в чистую тряпицу. На тарелку с блеклыми цветами положила бублики — все, что осталось от поминок. Принесла из сеней самовар, украшенный медалями.

— Давай, милая крестница, чайком угощу, небось проголодалась...

Елена с восхищением смотрела на старуху: с какой простотой та защищала ее, незнакомую, попавшую в беду Как сердечно разговаривала, как владела собой, только позавидовать можно.

Но чаевничать не пришлось. Кузьминична подсыпала проса чижу и будто окаменела. Смотрит на улочку. Так и есть — к дому приближается человек. Молодой парень из сборочного цеха. Сергей. Кружковец. Теперь и он попадет в засаду... Что же делать?

Старуха с невозмутимым видом прошмыгнула мимо городовых в сени. Открыла дверь, не дожидаясь звонка. Крикнула громко, приветливо:

— Сергей... Сергей, иди скорее... Елена приехала!

Парень недоуменно вскинул русые брови. Приехала? Она же в Петербурге! На морщинистом лице старухи испарина. Городовые притаились. Но шорох улавливает и Сергей. Что за чертовщина! А мать все шире и приветливее улыбается. Он стянул картуз, подошел неуверенно Та расцеловала его и, не дав открыть рта, затараторила:

— Не пужайся, тут городовые ловят каких-то нелегальных! — Кузьминична перевела дух и с вызовом закончила: — Только к моим сродственникам это не относится. Так и унтер пообещал, когда учинял обыск.

Ференчук выплыл из-за двери, отстранил старуху. Глаза его с неудовольствием уставились на парня:

— Больно много, бабка, сродственников у тебя. То крестница, то племянник...

— А как же, милой человек: чай, не без роду и племени... Как собака бездомная, по чужим углам не прячусь. Племянничек, племянничек и есть!

— Значит, и племянничка бог послал...— съязвил Сидоров, длинный и худой, выходя следом за Ференчуком во двор.

Елена улыбается. Так напористо наступает Кузьминична. Ее трудно даже узнать — гневная, колючая.

Парень кашлянул в кулак и виновато посмотрел на Елену. Только старуха не унималась. Хитро подмигнув смутившемуся парню, как заправская сводня, подтолкнула к Елене.

— Так и быть, не скажу Нюрке, что молодых девок целуешь.

Елена первая шагнула к Сергею. Под изучающим взглядом старухи и городовых они троекратно расцеловались. Ференчук зевнул, потащил напарника за рукав:

— Давай закончим в дурачка-то. Дело ясное — сродственники. Как схоронят покойника, так народ завсегда валом валит. Бабка бойкая, поди, весь Питер на ноги поставила. Она и старика, поди, на тот свет отправила. С другой бабой жил бы себе да жил...

— Не указывай на людей перстом, не указали бы на тебя шестом! — отрезала старуха.— Ишь ты: «С другой бабой»!

Старуха передразнила городового и увлекла всех в комнату. Перед Сергеем поставила стакан спитого чая, а Елене сунула кусок пирога. Городовые за занавеской продолжали играть в карты.

Шумел самовар, текла неторопливая беседа. Старуха справлялась о двоюродных сестрах и тетках, пихала в кулек гостинцы деткам племянника, журила, что не послал в деревню трешку матери, как обещал на пасху. Потом оборвала разговор:

— Ты уж не серчай, парень, а на Нюрку-то зря руку поднимаешь. Пять перстов, а все одна рука — так и семья... Не дело, парень. Намедни она вот с каким фонарем прибежала.— Старуха приставила кулак к правой щеке.— Сам пьешь, а на бабе зло срываешь...

Сергей молча пожал плечами. Елена опустила глаза,

стараясь спрятать улыбку. У парня и семьи-то никакой нет.

Тощий городовой высунулся из-за занавески:

— Бабе завсегда не нужно давать спуску, а то с иной ведьмой и сладу не сладишь.

— Вверх не плюй, себя побереги! — прервала его старуха.

Елена уже откровенно смеялась. Теперь загрохотал Сергей:

— Наша бабка знатная на всю Невскую сторону! Все присказки помнит — не переговоришь. В брань лучше не лезь...

Старуха, поглядывая на тощего городового, миролюбиво заключила:

— Первая брань лучше последней.

Сергей смеялся с юношеской непосредственностью.

— Переспорить тебя еще никому не удавалось...

— Ничего, мы скоро помиримся: посидим здесь с недельку, бабка и попривыкнет,— произнес городовой, раскладывая замусоленные карты.

— С умным браниться — ума набираться, а с дураком мириться, так свой растеряешь!

И опять продолжалось чаепитие. Старуха держала блюдечко на вытянутых пальцах, изредка клала в рот крошечные кусочки сахара. Елена задумчиво помешивала ложечкой в стакане. Сергей пил вприглядку, не решаясь брать леденцы. Слышно было, как тихо переругивались городовые, обвиняя друг друга в жульничестве.

Кузьминична повернула чашку вверх дном, поставила на блюдечко, положила сверху кусочек сахара. Сказала, как отрезала:

— Ну, хватит, племянничек, посидел — пора и честь знать. Крестница мне из святого писания почитает.

Она грубовато проводила племянника до дверей, сунула кулек с леденцами и приказала через день прислать Нюрку.

Парень стоял, низко наклонив голову. Старуха поцеловала его в лоб и долго кричала в открытую дверь — все давала наставления и советы.

Елена облегченно вздохнула: пронесло! Теперь Сергей предупредит о засаде. И опять хрипло били часы, кричала ржавым голосом кукушка. Старуха незаметно сунула паспорт Елене и тоже стала ее выпроваживать. Полезла

под кровать, вытащила разбитые сапоги, прижала их к груди. Видно, напряжение сказалось: лицо ее посерело, глаза ввалились, в голосе едва сдерживаемые слезы.

— Возьми и отдай дворнику. Поклонись от меня и передай, что, мол, крестный-то Семен Лазаревич преставился... Да, да, голубка. Преставился и сапоги-то сделать не успел. Уж пусть не гневается... Да и сама не тужи.— Старуха притянула к себе Елену. Худенькую, беспомощную.— Не горюй, дочка... Все стерпится, все обойдется... Наше дело кипело, да на льду пригорело.

Людмила Николаевна Сталь с благодарностью покидала маленький домик и его хозяйку Кузьминичну.

АРТЕЛЬЩИК

Дул западный ветер. По Неве шел лед Ладоги. Был май. На небе сверкающее солнце. Лучи его, множась, дробились о льдины, припудренные снегом. В Петербурге ледоход! Холодный, пронизывающий ветер гнал этот лед. Шел он густо, оставляя голубые разводы. Нева вспухла, грозила захлестнуть набережные. А ветер гнал и гнал лед. Казалось, под его напором вот-вот рухнет Троицкий мост. Лениво наползали льдины одна на другую и рушились с оглушительным грохотом. Нева выталкивала их под мостки Мойки, заполняла каналы.

Людмила Николаевна, прикрыв голову кружевным шарфом, смотрела с Иоанновского моста на Неву. Глаз не могла оторвать от столь грандиозного зрелища. Ветер обжигал лицо, раскачивал фонари на стрелах-пиках, схожих с елочной мишурой.

По крупному булыжнику сытые лошади протащили карету. На облучке рядом с кучером жандарм. Тюремная карета.

Иоанновский мост соединял город с Петропавловской крепостью. Старинный. Игрушечный. Украшенный висячими фонарями в кованой оправе. У полосатой будки лошади замедлили ход. Жандарм, перегнувшись, что-то прокричал караульному солдату, и карета скрылась. «Вот и все... Новый узник...» — вздохнула Людмила Николаевна. Недаром Иоанновский мост в подполье называют «Мост вздохов».

На Иоанновском мосту она оказалась случайно: торопилась в Гостиный двор, но в конке обратила внимание на некоего господина, напоминавшего трактирного вышибалу. Решила провериться. Сошла у Татарской мечети, господин следом. Да... Вот и торчит у Троицкого моста, стараясь не потерять ее в толпе. Наверняка шпик. Придется в который раз зайти в Петропавловский собор.

Карета с княжеским гербом, поворачивая с Троицкого моста, скрыла Людмилу Николаевну. Шпик засуетился, а молодая женщина, не раздумывая заторопилась вдоль Иоанновского моста, полного питерцев, глазеющих на диковинный ледоход.

Под низким сводом Людмила Николаевна прошла во внутренний двор. Опять караульная будка с застывшим солдатом-гренадером. Над воротами икона, по обеим сторонам в нишах фигуры Афины и полуобнаженной Истины. Деревянные. С облупленными носами.

Со стен Нарышкина бастиона прозвучал сигнал — пушечный выстрел, по традиции возвещавший полдень. Ему вторил переливчатый звон часов Петропавловского собора.

Молоденькая монашка в черном одеянии мелко крестилась. На круглом лице умиление — часы вызванивали гимн «Боже, царя храни».

Людмила Николаевна миновала вытянутое здание артиллерийских складов, Инженерного дома с пирамидами из чугунных ядер. Аккуратные стриженые газоны. Дорожки, посыпанные оранжевым песком. У Комендантского кладбища, примыкавшего к собору,— там покоились коменданты Петропавловской крепости — сановитая толпа. Генеральские мундиры. Адъютантские сюртуки. Золотые погоны. Аксельбанты. У могильных плит, позеленевших от давности, светские дамы. Очевидно, чья-то годовщина.

Сквозь цветные витражи Петропавловского собора проникало солнце. Сияли золотые обручи сводов, массивный иконостас, царские врата. В медальонах, тяжелых окладах, больших рамах лики святых. Вспыхивали хрустальные люстры. Мраморные раки, усыпальницы царской семьи, сверкали начищенными медными досками. Над ними древки знамен времен Северной войны — синие, зеленые, голубые, затканные золотом и шведскими коро-

левскими лилиями. Собор в своем великолепии скорее напоминал дворцовую залу, чем храм. Крупными складками падал пурпурный бархат над царским местом. Вдоль стен собора в нишах двенадцать картин по святому писанию. А вокруг золото, парча, драгоценные камни. В центре кафедра с витой лестницей. Вверху ангел поднял крест, как меч. С кафедры лились слова проповеди:..

Людмила Николаевна усмехнулась: в такой роскоши думы о ближнем?.. Кафедру обошла со всех сторон: отсюда, подобно грому, раздавались проклятья Степану Разину, Емельяну Пугачеву, Льву Толстому. Сосед Людмилы Николаевны, перекрестив потный лоб, бросил в кружку рубль. Пора уходить.

И опять долго стояла в тени густых лип неподалеку от чистенького особнячка классического стиля, которыми славится Петербург. Розовый. Двухэтажный. С белыми наличниками, строгой лепниной. Комендантский дом. Страшный. Обманчивый, как улыбающийся палач. Здесь выслушивали смертный приговор декабристы, а позднее из этого розового дома увозили на Шпалерную народовольцев Михайлова, Гельфман, Желябова.

Между булыжником, выжженным солнцем, пробивались кустики травы. Молодые, задорные, как новая жизнь, которую не может заглушить даже камень. Крепость, запоры, камень — все ничто в сравнении с жизнью... И от этой мысли стало как-то спокойнее.

Стороной обошла толпу, прибывавшую к комендантскому кладбищу. В шитой золотом ризе гнусавил дьякон, размахивая кадилом. Могучими глотками вторили монахи. Рослые, как солдаты-гренадеры, при въезде в крепость. И опять чистенькие газончики и стриженные на английский манер липы...

На Троицком мосту шпика не было. Потерял... Она обрадовалась. Стояла, вслушиваясь в накаты Невы на казавшиеся неприступными стены Петропавловки. Застыл на соборе ангел-флюгер с поднятой трубой. Высоко проступала витая шапка татарской мечети, будто соперничая с Петропавловской иглой.

Ветер не менялся, а-все гнал и гнал лед. Наплывающие льдины густо собирались у каменных быков. Напирали, разбивались об их могучую грудь и уползали к Летнему саду

Людмила Николаевна Сталь, захваченная этим невиданным зрелищем, чувствовала головокружение, как на корабле при качке. Казалось, вот-вот в ледяную глубину рухнет и Петропавловский собор с ангелом-флюгером, и Троицкий мост с чугунными решетками и висячими фонарями.

Хлопнула крышкой часиков на золотой цепочке. Ого, сколько проблуждала до крепости! И все же, подумав, решила не торопиться на Гостиный двор в «Посыльную контору». Время обеденное, артельщика сразу не дадут, а откладывать заказ она не имела права. Дело не простое — на Финляндском вокзале тюк с нелегальщиной. Привезли железнодорожники под видом домашних вещей. Так случалось не однажды. В Выборге сидел свой человек, который ведал транспортировкой. Квитанции ей передала Стасова. Обычно литературу Людмила Николаевна получала сама, но в последнее время решила не рисковать и брала артельщика. Кстати, на этом настаивала и Стасова. Так удобнее и надежнее, хотя есть и свои сложности: нужно страховать тех, кто поджидает транспорт на конспиративной квартире.

Людмила Николаевна прошла по Нижнелебяжьему мостку и очутилась в Летнем саду. Солнце окутывало деревья теплым зеленым маревом, играло на золоченых наконечниках и двуглавых орлах решетки. Шум ледохода, праздничное сияние бело-голубой Невы, мраморные античные статуи придавали Летнему саду таинственную прелесть.

Солнце припекало, а цветы еще хранили драгоценные капельки росы. Людмила Николаевна разыскала тенистый уголок — большой куст черемухи. В глубине скульптура Милосердия. Молодая прекрасная женщина держала открытую книгу законов. О, даже изречение! Да, да, латынь она не забыла. «Правосудие преступника осуждает, милосердие же милость дарует».

Правосудие... Преступление... Милосердие... Какие святые и какие подчас ложные слова! Кто преступник? Кому даруется милосердие? И кто осуществляет правосудие? Нет, лучше обратить свой взор к мраморной Ночи. На грациозной головке — венок из цветущего мака, на поясе — летучая мышь, у ног — сова. Это извечные символы Ночи. А как величав Закат — могучий старик, попирающий диск солнца!

В крошечном пруду плавали лебеди.

У литых ворот Людмила Николаевна купила букет ландышей. Цветочница, улыбаясь, опустила монету в кошелек у пояса.

Гостиный двор напоминал московские лабазы — приземистые, добротные. Лишь приказчики, завитые и напомаженные по питерской моде, отличались от привычных московских увальней. Двор заполнили купеческие лавки. Витрины ломились от товаров — модные платья, переливчатые ткани, тонкий фарфор, серебро. Стараясь не замечать заискивающих глаз приказчиков, Людмила Николаевна поднялась по широкой лестнице на второй этаж — в царство ковров. Ворсистые и гладкие, пушистые и грубые, затканные всеми цветами радуги и блеклые... Персидские... Бухарские... Французские гобелены... Владелец магазина, крохотный человек на коротких ногах, вырядился в широкие шаровары и кожаный пояс. На голове феска с крупной кистью. По каким-то неуловимым признакам в молодой женщине он не признал покупательницу. Лишь на всякий случай кивнул продавцу в таком же диковатом костюме. Обычно в магазин с коврами Людмила Николаевна старалась не заходить, но сегодня зашла, чтобы провериться. К счастью, «Посыльная контора» и магазин Готье (турок носил французскую фамилию) на одной площадке. Из магазина есть выход на другую лестницу Гостиного двора, разрезанного маршами.

В «Посыльной конторе» сидел тучный человек и пил чай. На коленях полотенце. Мелкие кусочки сахара на блюдечке. Завидев посетительницу, служащий, отдуваясь и вытирая шею, с сожалением отодвинул чашку. Надел для солидности фуражку с красным верхом и водрузил на нос очки, перевязанные у переносицы ниткой. Тяжело вздохнув, толстяк привстал навстречу посетительнице.

— Здравствуйте... Здравствуйте...— заговорила Людмила Николаевна, играя зонтиком.— Прибыли домашние вещи из Выборга... Мне нужен артельщик.

— Адрес?

— Камера хранения Финляндского вокзала.

— Адрес? — переспросил толстяк.

— Финляндский вокзал, я же вам отвечаю.

— Господи! Адрес, куда доставить вещи? — Служа-

щий поморщился от такой непонятливости посетительницы.

Людмила Николаевна улыбнулась. Вид толстяка, для которого каждое слово — страдание, умилил ее. Служащий снова вздохнул и, грозя раздавить стул, отодвинулся. Он снял с полки книгу. С трудом раскрыл ее и, сыпля проклятия, принялся чистить перо о волосы. Фуражка уже лежала на пожелтевших газетах, а толстяк, высунув кончик языка, с видом старательного гимназиста, выводил заказ в книге.

— Артельщик нужен сегодня,— решилась Людмила Сталь.

— Почему сразу не сказали?

— Сразу?

— Да, сразу, об артельщике на сегодня...— простонал толстяк, вытирая потные ладони.

— Ждала, что спросите.

В заплывших жиром глазах изумление. Людмила Николаевна, не удержавшись, расхохоталась. Прыснул в уголке и артельщик, пристроившийся на лавке.

— Ой, Пал Палыч, да еще расспрашивать... Они, скорее, соснут...— Артельщик почесал за ухом и умолк, поймав сердитый взгляд Пал Палыча.

— Адрес? — Пал Палыч уже писал в пропыленной книге.

— Лифляндская улица, дом госпожи Сорокиной.

— О господи, через весь город!

— Конечно, далековато. Зачем же иначе «Посыльная контора»? — Людмила Николаевна приподняла сросшиеся у переносицы брови.— Мне бы и дворник привез.

— Поди, за Нарвские ворота...— Пал Палыч искал препятствие, которое давало бы ему возможность ничего не делать.— Через Неву да Обводный канал...

— Так возьмете по тарифу! — оборвала его Людмила Николаевна.— Вашу контору рекомендовали как исправную. Вещи домашние... Перевожу с дачи... Раньше снимала дачу под Выборгом, а теперь на Черной речке — вот и приходится перетаскиваться.

— По тарифу,— презрительно фыркнул толстяк.

— Тариф тарифом, а на чай не обессудьте, барынька! — Артельщик почесал рыжую бородку.

— На шкалик...— Толстяк оживился и каллиграфи-

ческим почерком начал выводить адрес и номер заказа.

Писал старательно. Перо вздрагивало и так же грозило разлететься, как все, к чему он прикасался. Пот градом катил по щекам и тройному подбородку. Наконец, проскрипев пером, он поставил точку. Подул, пошуршал и попросил уплатить ассигнациями. Захлопнул книгу, поманил артельщика.

— Здесь, Пал Палыч! — гаркнул артельщик.

— Нумер осьмой, возьми квитанцию!

Пал Палыч даже головы не повернул. Сунул через плечо квитанцию и, отдуваясь, с чувством исполненного долга снова придвинул к себе чашку.

Людмила Николаевна, улыбаясь, покачала головой. Подумала и небрежно бросила артельщику:

— Если смогу, то приду на вокзал — посмотрю за погрузкой, а то все переломаете. Муж неумеха, не знаю, как вещи уложил... Да, доставьте багаж после трех.

— Не извольте беспокоиться, барынька! Все в лучшей манере закончим — не впервой. Пал Палыч шкуру спустят, коли что не так.— Артельщик явно хитрил, не выпуская рыжей бородки из грубых ладоней.

Пал Палыч в разговор не вступал.

— Держи, служивый, на конку.— Людмила Николаевна сунула артельщику пятиалтынный.

В багажном отделении Финляндского вокзала против ожидания было людно: суматоха, галдеж. Прибыл поезд из Хельсинки, и артельщики подкатывали тележки с вещами, залепленными сургучными печатями. В отделении пахло сыростью, мышами. За редкой железной сеткой был свален багаж — ящики, баулы, тюки, чемоданы...

Людмила Николаевна, низко опустив вуаль, отыскивала артельщика за номером восемь. Артельщик был не один. Опытным глазом она определила рядом шпика. Эдакий сытый господин в коротком пальто и шляпе-котелке. Галстук бабочкой. Жесткий крахмальный воротничок подпирал полные щеки. В руках тросточка. Щеголь. Вот он пошептался с жандармом и пристроился за артельщиком.

Очередь двигалась медленно. Сухонький железнодо-

рожник хватал квитанцию и с ошалелым видом кидался к тележкам, переворачивая бирки с наклейками. Пассажиры пытались подсказать ему, но дело быстрее не двигалось.

Людмила Николаевна, боясь, чтобы артельщик не опознал ее, вышла на площадь. Взяла извозчика и приготовилась терпеливо ждать. Чахлая клумба, утыканная маргаритками, сиротливо торчала, опоясанная железными путями конки. Невысокое здание вокзала под стеклянным колпаком казалось почерневшим от копоти. Погода резко испортилась, как это часто бывает в Петербурге, и начал накрапывать дождь.

Извозчик по привычке дремал, опустив голову. Синий кафтан, перехваченный кушаком, выгорел на солнце. Швы на спине разошлись. Ударили вокзальные часы, заглушаемые свистком маневрового паровоза. Два. Пожалуй, так и на конспиративную квартиру опоздаешь. Стасова будет сердиться.

Людмила Николаевна устало прикрыла глаза. Почему-то сегодняшний груз беспокоил ее. Как обычно, она прикрывала артельщика, чтобы не провалить квартиру. Главное в конспирации — простота. Вот и решила при заказе точно указать улицу и номер квартиры, а фамилию проставить фиктивную. Мало ли что может произойти... Приходилось прятаться от преследований, прыгать с конки, рискуя сломать себе шею, скрываться проходными дворами, менять внешность. Она устала, мытарства по чужим углам, провалы в организации, аресты...

Людмила Николаевна вздрогнула: с тюком, зашитым в мешковину, артельщик вышел из багажного отделения. Тот самый, номер восемь, с рыжей бородкой. Вгляделась в бляху — все правильно.

Артельщик покрутил головой и заторопился к конке. До Нарвских Триумфальных ворот конка ползла час. На извозчике было бы быстрее. Раздался резкий звонок, и конка тронулась. Людмила Николаевна уже готова была разбудить спящего старика, но тут случилось то, чего она так боялась. Из багажного отделения вывалился шпик. Видно, поджидал хозяина багажа, а теперь вот решил проследить за артельщиком. Шпик махал рукой, чтобы привлечь внимание кондуктора. Жандарм поднес к губам на витом шнуре свисток. Конка остановилась, и шпик вскочил в нее, подтолкнул артельщика.

У Нарвских Триумфальных ворот конку поджидала Людмила Николаевна. Дважды переменила извозчика на Невском, потом на Московском. Наблюдения не приметила, и вот она здесь, у Триумфальных ворот. Высокие колонны подпирали свод. На стремительной колеснице, запряженной сказочными конями, летела крылатая богиня Победы — Ника. В руках венок в честь победителей: русские полки после разгрома Наполеона входили в столицу через Триумфальные ворота.

Людмила Николаевна прошлась вдоль Триумфальных ворот с отсвечивающими серебром колоннами. Дождь звонко бил по мостовой. Она раскрыла зонтик, не обращая внимания на дождь, как истинная петербуржка.

Разбрызгивая фонтаны воды, подкатила конка. Торопливо сходили люди, нахлобучивали шляпы, поднимали воротники пальто. Артельщик спрыгнул последним. Бросил тюк на тротуар и, достав цветастый кисет, принялся закуривать. Фуражку с красным верхом, знак принадлежности к «Посыльной конторе», лихо сдвинул на затылок. Шпик вертелся рядом. Артельщик затер окурок стоптанным сапогом и двинулся к Лифляндской улице. Шел неторопливо, останавливался, чем очень сердил господина. Да, господин вел себя странно: поглядывал по сторонам, временами отставал, пропуская артельщика вперед, брезгливо поднимал ноги, обходя лужи.

Людмила Николаевна выбрала кратчайший путь. Нырнула проходным двором, обогнула одноэтажный трактир, зажатый фабричными корпусами, снова скрылась в лабиринте проходных дворов, известном лишь местным жителям, и, прижавшись к кустам сирени, оказалась на Лифляндской улице у дома госпожи Сорокиной.

Дом этот имел множество подъездов, парадные и черные лестницы, в которых так легко запутаться незнакомому человеку. Эти достоинства и сделали дом госпожи Сорокиной незаменимыми для конспирации. Под аркой начинался проходной двор, им следовало воспользоваться в случае опасности. У парадного под железным козырьком сидела старушка в лиловом салопе. С зонтиком. У ног дворняжка с набухшей от дождя шерстью.

Людмила Николаевна быстро вбежала на третий этаж по обшарпанной лестнице. Позвонила. Сердце сжималось от боли и волнения. Не дождавшись, пока откроют

дверь, условно постучала, ждать времени не было. Дверь отворила Катя, подносчица с Обуховского. Это ее мать, Кузьминична, спасла от ареста Людмилу Николаевну в доме за Невской. Хозяйка квартиры Прокофьевна, старая женщина, по взволнованному виду Людмилы Николаевны сразу поняла, что случилось что-то неладное. В квартире была Катя, ее подружка, и студент из Технологического — разносчики. А вот с литературой-то приключилась такая беда.

Людмила Николаевна села, стараясь унять удары сердца. Разносчики... Сколько их по Питеру! Условия конспирации жесткие — литературу забирали немедленно, чтобы очистить квартиру. Обертывались листовками, набивали ею потайные карманы, полнели на глазах, но руки всегда оставались свободными. Свертки, портфели, узлы — все это запрещено было Стасовой. Правда, были и исключения — сама Стасова всегда ходила с портфелем. Утром если пуст, то набит мятой бумагой. Полушутя Стасова не раз говорила, что наверняка по наружному наблюдению значится как «девушка с портфелем». Разгуливать по Питеру со свертками нелегальщины запрещалось. Сколько раз приходилось это доказывать молодежи!.. А им нужен был риск, романтика.

— Расходитесь, товарищи! Транспорт провален.— Людмила Николаевна глотнула воздух и, помолчав, добавила: — Через пятнадцать минут здесь будет артельщик с хорошим «хвостом».

— Может быть, вывернемся! — Катя с надеждой смотрела на Людмилу Николаевну.

— Если вовремя уйдем, то вывернемся, а транспорт все равно потеряем.

— Напасть-то какая! — Старушка покачала головой. На ее приятном лице тревога.— Говорю, не делом занимаетесь — все в Кресты угодите, а нам, матерям, слезы горькие лить да передачи носить!

Людмила Николаевна ласково обняла ее за плечи. Добрейшая Прокофьевна достала клубок шерсти и принялась вязать чулок. Частенько она шутила: чулком-то Исаакия можно опоясать — вяжет и вяжет, а конца-краю не видать... Где быть концу — вяжет при случае: обыски, провалы, а в клубке-то замотана записка с явками и паролями.

Квартира быстро опустела. Катя спустилась в парад-

ное. Ее подруга воспользовалась черным ходом. Студент поднялся в квартиру приятеля, а Людмила Николаевна быстро проскользнула вниз и притаилась в соседнем парадном. Прокофьевна, покрякивая, вышла последней.

Дождь затих так же внезапно, как и начался. Прокофьевна уселась на мокрой лавочке, положив рядом корзиночку с заветным клубком. Артельщик долго стоял у подъезда и, задрав голову, изучал на пожелтевшей табличке номера квартир. Смачно плевал между затяжками и, наконец взвалив тюк на плечи, направился в парадное. Но, заметив Прокофьевну, решил все же спросить. Шпик вертелся рядом.

— Квартира Шумана на третьем этаже? — прокричал артельщик.

— Ась?..— Прокофьевна подняла на лоб очки.

— Шуман... Шуман...— кричал во все горло артельщик.

— Спроси, милой человек, в дворницкой! — прокричала ему Прокофьевна.— Дворник всех знает, а тут жильцы, поди, каждый день меняются, кто съезжает...

— Съезжают? Отчего не живут? — Артельщик опять полез за кисетом.

— А бог их знает! Кому дорого, кому далече... А уж дохтуров здесь не удержать, тем нужны дома стоящие...

— Так Шуман дохтур?

— Шуман завсегда дохтур,— заключила Прокофьевна.

— Да, твоя правда, мать.

— А ты его ищешь здесь, чудак!

— Так Шуман-то съехал али нет? — Артельщик, приподнявший было тюк, грохнул его о мостовую.

— Ась?

— Шуман... Шуман...

Разговору, казалось, не будет конца. Кричал артельщик, кричала Прокофьевна. Лишь клубок неторопливо вертелся в корзиночке с нитками. Людмила Николаевна, прислонившись к стене, внимательно вслушивалась.

— Пошел... пошел... Бездельник! — Шпик, потеряв всякое терпение, торопил артельщика.

— Ты, барин, меня не нанимал, а погоняешь! — обозлился артельщик.

Прокофьевна осведомилась:

— А ты разве не с барином? Почто он тогда встревает в разговор?

— «Почто, почто»! Такой уж барин! От самого вокзала прилип как банный лист.— Артельщик надвинул фуражку на глаза.— На конке ехали вместе, а и у Нарвских ворот сигает за мной... Могет, и он Шумана ищет?

— Так, говоришь, баба у него рожает? — Прокофьевна уставилась на шпика.

— Какая баба рожает? — Артельщика забирало любопытство. Он остановился и не знал, что ему делать с тюком. То ли бросить в воду, сливавшуюся по желобу, то ли подняться в парадное в квартиру и искать этого распроклятого Шумана.

— Да ты сам сказал! — возмутилась Прокофьевна.— Коль дохтура ищет, знать, баба рожает...

— И правду рожает.— Артельщик с жалостью посмотрел на ошалевшего шпика и свалил тюк в воду.— Барин, а барин, поди, баба-то мается?

— Какая баба? — с отчаянием переспросил шпик.

— Как какая? А у тебя их разве две?

— Иди к черту!

Шпик нырнул в парадное.

— Вот они, господа-то...— вздохнула Прокофьевна и обиженно поджала губы: — Сердцем пособить думаешь, а они с бранью...

— Пожалуй, пора! — Артельщик нерешительно поднял тюк.

— Куда пойдешь-то? — не отпускала его Прокофьевна.

— Закудакала... К дохтуру Шуману...

— А где он, Шуман-то?

И опять разговор завертелся, как карусель. Людмила Николаевна улыбалась. В разговор вступили жильцы, привлеченные криком. Распахивались окна. Стучали ставни. Артельщик все же поднялся на третий этаж, а потом долго стоял около Прокофьевны, проклиная господ: им-де не сидится на одном месте. И опять советовала Прокофьевна, как разыскать этого Шумана, которого, поди, и след простыл.

Шпик участия в дебатах не принимал. Нахохлившись,

зло сверлил артельщика глазами. Процессия направлялась к дворнику. Крики уже доносились из соседнего двора.

Людмила Николаевна жалела транспорт: литературу наверняка вернут на Финляндский вокзал; радовалась, что удалось спасти конспиративную квартиру.





ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО

Поздней осенью 1906 года присяжный поверенный Аркадий Александрович Самойлов снял квартиру на Дворянской улице. Луганск не уступал столице. Да и что это за город, коли в нем нет Дворянской улицы? Дом стоял за зеленым забором, окруженный акациями и тополями. К забору жались кривые скамьи с темными пятнами лишайника. В будке на соломе лежала толстая собака, лениво раскрывая пасть, зевала.

Мужчина подошел к будке и, не обращая внимания на рычание пса, погладил его по морде. Пес заскулил, словно встретил старого друга.

Дом белел колоннами, обрамлявшими балкончики на втором этаже, наличниками и входной дверью под навесом.

Вместе с присяжным поверенным Самойловым приехала и его жена. Крупная, красивая женщина с выразительными глазами, которую муж называл Наташей.

Приехали они поздней осенью. Акации уже сбросили желтую листву, и мелкий ажурный лист, прибитый дождем, окрашивал дворик в оранжевый цвет.

Вещей у приехавших было мало. Правда, дворнику

пришлось открыть ворота, и по оранжевому листу пролегли следы. Ломовик в брезентовой робе провел коня с рыжей челкой.

Неторопливо подошел дворник. Снял картуз, закурил цигарку. Всем своим видом он давал понять, что дела господские его мало трогали. Дворник завел разговор с возчиком.

Аркадий Александрович снял корзины с телеги. Его жена отошла в сторону и присела на скамью.

Из парадного выбежала кухарка. Она уперла руки в крутые бока и принялась стыдить дворника, пьяницу и бездельника, за то, что не помог господам. Она повязала голову платком и кинулась к телеге. Дворник даже не взглянул в сторону кухарки, он продолжал сидеть и курить. Он уже, видимо, привык к ее крику. Дрогнула занавеска, и в окошке появилась хозяйка дома, вдова полковника Дворник не спеша затоптал окурок сапогом и двинулся к телеге.

Корзины оказались тяжелыми, словно в них были золотые слитки. Он ненароком качнул одну, и в грязь полетели книги. Жена присяжного поверенного встала и, не жалея нарядного пальто, бросилась их подбирать. На лице ее было отчаянье, да и барин был недоволен.

Дворник пренебрежительно посмотрел на приезжих эка невидаль — книги! А дамочке и пальто не жаль замарать. Блажь-то у господ какая.

Ломовой, покрякивая, взвалил на плечи корзину Согнулся от тяжести и почти бегом направился к парадному. У двери его встретила кухарка. Спрятав руки под фартук, она давала советы:

— Эй, ты, кривая оглобля, поворачивайся!

Дворник натянул пониже картуз:

— Цыц, дура-баба... У самой не тем концом нос пришит!

— Пьянь тараканья! — взъярилась кухарка.— Коли мой нос не тем концом пришит, то твой давно посинел от водки!

Дворник ухмылялся и подмигивал новым жильцам у кухарки и впрямь был утиный нос.

— Нос... Нос... Жил-был журавль да овца, накосили они стожок сенца, не сказать ли опять с конца! — не унималась кухарка.

Аркадий Александрович перестал собирать книги и,

спрятав смешинки в глазах, вслушивался в перебранку. Жена его поняла, что дворник и кухарка затеяли поединок и им необходимы зрители.

— Поиграл бы я в кончики, да не с кем! — Дворник втискивался в дверь, норовя задеть корзиной кухарку.— Вишь, чертова баба!

В движениях его ловких и сильных было столько удали, что Самойлов залюбовался. Да и сам дворник выглядел молодец молодцом. Крепкий, косая сажень в плечах, мускулы так и ходили под ситцевой рубахой.

— Не такого я отца дочь, не такой матери дитя, чтобы с дураком лясы точить! — Кухарка достала горсть семечек и принялась лузгать их.— Хочешь, Иван, загадку загадаю?

— Ишь голубица...— недоверчиво покосился дворник на присмиревшую кухарку.— Загадку!

— Мать — лопотунья, дочь — хвастунья, сын — замотай...

— Чертова баба,— дворник в сердцах бросил корзину с книгами в грязь.— Метлой попрекаешь... Благородную из себя корчишь... Знамо дело, мы рылом не вышли...

Аркадий Александрович удивленно переглянулся с женой. Да, бойкая баба, ничего не скажешь. «Мать лопотунья, дочь хвастунья, сын замотай»! Дворнику, поди, с такой бабой и не совладать.

— Тьфу, дура...— дворник поднял корзину и направился к дому.

Женщина заплакала.

Самойлов молча укладывал книги, вытирая с них грязь. Дворник миролюбиво подошел к кухарке и неловко сказал:

— Марыся, это же все присказки...

— Присказки? А откуда у тебя стиранная рубаха? Не дал бог медведю волчьей смелости, волку медвежьей силы.

— Хозяин в дому — что медведь в бору, хозяюшка в дому — что оладьи в меду,— миролюбиво произнес дворник и убрал разбойничий чуб под шапку.

— Не прав медведь, что корову съел, не права и корова, что в лес зашла.— Кухарка улыбнулась и сразу похорошела.— Ну, прощевай, меня барыня кличут-с...

Самойлов восхищенно покрутил головой: бедовая баба.

Самойлов ощутил покой и счастье. Такое неизведанное и непривычное. Он расставлял книги по полкам, перетирал их, листал.

Это была первая совместная квартира их с Конкордией Николаевной. После той короткой встречи в Москве на квартире у Зеликсон-Бобровской они потеряли друг друга. Судьба их развела. Арест в Екатеринославле, тюрьма в Твери. Конкордия Николаевна работала в Одессе. Началась революция, и она перебралась в Москву. Но встретиться им не удалось. Скорее всего, она этих встреч не искала. Из Москвы она вернулась в Одессу, но комитет захватили меньшевики. Она перебралась в Ростов, и там ее снова арестовали. Взяли Донской комитет РСДРП, членом которого она состояла. Процесс обещал быть громким, но дело совпало с самоубийством политических, и охранка побоялась огласки. Конкордия Николаевна вместо каторги получила ссылку под гласный надзор в Вологду. Все новости Аркадий Александрович узнавал от их общего друга Зеликсон-Бобровской. Он давно не стыдился своей любви и радовался, что мог поговорить об этом с другом. Это уменьшало его страдания. Чувство благодарности к Зеликсон было безмерным. В Вологду он послал открытку Конкордии Николаевне — репродукцию со скульптуры Родена «Уходит любовь». Да, он боялся, что сложности и перипетии уничтожат их любовь. Он собрался в Вологду и тут узнал, что Конкордия Николаевна после побега находится в Москве.

Он никогда не забудет своего состояния в тот осенний день. Думал, искал, тосковал... И вдруг она снова рядом! Вместо радости его охватила тревога. Нужен ли он ей? Да и зачем умной и прекрасной женщине эдакий чурбан? Он подошел к зеркалу, покачал головой, облегчения не испытал. На него смотрел сутулый человек, с темным лицом, крючковатым носом.

Над Сокольниками висела осень, тихая и мечтательная. У входа в парк под густыми липами, разукрашенными первым золотом, застыл Аркадий Александрович В тот день намечалось собрание партийной организации Аресты тяжелой волной захлестнули их. Предстояли довыборы городского комитета. На это собрание должна была прийти и Конкордия Николаевна. Она приехала нелегально и жила в Сущевских переулках. Он знал, что она придет Знал, ждал и волновался. Противный ком

подкатывал к горлу, становилось трудно дышать. Временами его охватывало горькое отчаяние, хотелось убежать самым малодушным образом.

Издалека доносились звуки оркестра. По воскресным дням военный оркестр маршами и вальсами увеселял публику. В этот теплый день, когда сумерки накрыли улицы синеющей темнотой, когда на небе, казавшемся бездонным, проступили одинокие звезды, сердце его наполнилось сладостной и щемящей болью. Он должен был ее увидеть — месяцами образ ее преследовал его. Он не мог сказать, когда бы он не вспоминал о ней,— он просто никогда ее не забывал. И с такой отчетливой ясностью видел ночами ее лицо, что пугался галлюцинаций. Воображение рисовало ее сказочной и прекрасной. Любил в ней все: морщинки на подбородке, глаза с насмешливыми иголочками, тонкие нервные пальцы, гладкие черные волосы. Все, что казалось в ней несовершенным, вызывало сладостную боль. Временами его пугала мысль, что он, по сути, мало ее знает, что его чувство, построенное на домысле, не может быть таким всесокрушающим. В эти дни он успокаивался, занимался делами и удивлялся собственному безумию. Но такое продолжалось недолго — он вновь страстно хотел ее видеть, стыдил себя за малодушие. Жить без нее он не хотел! Она была нужна ему постоянно, нужна, чтобы делить радость, делить жизнь. Часто он ловил себя на скверной привычке— да, начал разговаривать сам с собой, то упрекая ее, то упрашивая поверить ему. Без веры нельзя жить. И без любви жить просто противоестественно. Какие прекрасные слова он говорил ей наедине! Он хотел жить для нее, благословляя и умиротворяя, надеясь, что и она со временем привыкнет к нему, успокоится...

И опять глаза его ревниво выискивали ее в нарядной толпе в Сокольниках.

Наконец он заметил ее в толпе. Прижался к дереву, боясь, что она его обнаружит. Усилием воли он заставил себя остаться на месте. Черт возьми, мужчина же он! Красота ее была ослепительной. И только когда понял, что она пройдет мимо и опять он останется один со своими тревогами и волнениями, он резко шагнул навстречу. Неизвестность стала пыткой, которую он не мог долее переносить.

— Кона...— прошептал он и спрятал руки за спину.— Кона...

Голос его был жалкий. Он себя презирал. А она? Она радостно протянула к нему руки, словно ждала его. Нет, она не удивилась, она именно ждала его. Все, что происходило в дальнейшем, он плохо помнил. Воспоминания были обрывочными, словно лоскуты. Дирижер на эстраде с осиной талией кокетничал с публикой. Из толпы, окружавшей эстраду, вынырнул связной с гвоздикой в петлице и указал на липовую аллею. Там их встретила женщина, тоже связная, и велела повернуть в рощу, за которой скрывалась поляна. Светила луна, круглая и печальная, наполняя тишину неживым светом. Он держал Кону за руку, ощущая ее прикосновение. Он не шевелился, он парил в сумасшедшем и счастливом сне. И все улыбалось ему — и кусты, и лощина, и луна, и связные. И в целом свете была только ночь, звезды и она...

И еще ему припомнился час, когда началось это собрание. Они сидели на поляне под густым орешником. Условия конспирации были жесткими: опасались налета полиции. Зеликсон-Бобровская, он узнал ее по голосу, говорила о последних арестах, обескровивших организацию, о том, что не хватало опытных пропагандистов, что опыт уличных декабрьских боев не прошел бесследно, что новая схватка с царизмом близка... Пересвистывались связные в охране. И этот свист все время напоминал, что бархатная ночь полна опасности. Конкордию он все-таки потерял в темноте. От охватившего его волнения он не очень хорошо вслушивался в речи ораторов. В их голосах ему чудился ее голос, в каждом движении — угадывалось ее движение. И вот начались довыборы в городской комитет. Заговорила «Наташа». И теперь в ее голосе он слышал только ему знакомые оттенки, только ему. Он готов был поклясться, что голос ее дрожал потому, что на поляне сидел он, Аркадий Самойлов, известный в подполье под кличкой «Антон». И вдруг все его сердце наполнилось невообразимой жалостью к ней. Участвовала на Бестужевских курсах в ветровской истории, была арестована. Работала в Твери и была арестована. Работала в Ростове и была арестована. Бежала из ссылки... Это она, его Кона, всегда без дома, без крова, всегда нелегальная, без паспорта, постоянно разыскиваемая полицией. Он предложил кооптировать товарища Наташу в городской комитет. Голос его срывался, он боялся выдать себя. Началось голосование — каждый спичкой осветил поднятую руку, а лицо

оставалось в тени. Так и поднялся на поляне целый лес рук, подсвеченных красноватым огоньком.

Расходились по одному. Он поджидал ее у дуба. Позабыл об осторожности, позабыл об опасности. Ждал с нетерпением, готовый ко всему. Теперь больше он не мог ее потерять, это было равносильно смерти. И опять она протянула к нему руки. Он говорил о том, что его невозможно любить, что в нем нет ничего хорошего, что он просто ординарный человек... Он был в этом совершенно уверен. Он хотел сбежать, чтобы не видеть жалости на ее лице. Только что он мечтал просто хотя бы увидеть ее, а теперь он требовал, именно требовал, чтобы она отвечала любовью на его чувство. Отвечала любовью, а не жалостью. Этого он потерпеть не мог. В темноте светились его глаза, и ему, обезумевшему от горя, казалось, что она смотрит на него с простым участием. И все страдания, думы, волнения, бессонные ночи слились в одно жгучее и страстное желание — бежать, не унижая себя до просьбы и объяснений. А она прижалась к нему, обхватила его шею и целовала, целовала...

Счастью сопутствовала тревога. Начались страшные дни. Конкордия Николаевна не могла жить в Москве. Так называемые сочувствующие, испугавшись репрессий, отвернулись от нелегальных, даже переночевать было негде. Они встречались урывками, то на вокзале, то на улице. Аркадий Александрович снимал комнатку на Пресне, но Конкордия Николаевна, боясь слежки, отказалась там поселиться. Где она скиталась эти месяцы, где находила кров, он сказать не мог. При встречах она была полна нежности, но и тревогу скрыть не умела. Она похудела и подурнела. Он упрашивал ее уехать в любой город, где бы они могли поселиться вместе. Она считала предательством оставить организацию в такое трудное время. Он решил поговорить с Зеликсон-Бобровской. Она ушла от родственников в генеральских чинах и снимала угол у лакея из Немецкого клуба. Муж ее скитался где-то в Марьиной роще.

Счастье улыбнулось ему, когда Аркадий Александрович потерял уже всякую надежду. В тот день они расстались у почтамта. Конкордии Николаевне необходимо было закончить деловую переписку с Екатеринославом. Она успокоила его, что устроилась на ночлег у солидных людей. Он покинул ее с тяжелым сердцем.

Ночевать ей было негде, в сумке лежало несколько паспортов на разные фамилии. Пришлось все-таки идти в арбатские переулки к Зеликсон-Бобровской. Ее угол был за ситцевой занавеской. Там стоял полумрак. Впотьмах она налетела на какое-то пустое ведро, всполошилась хозяйка, разбуженная ночным вторжением. Вместо кровати — широкая доска, установленная на чурбаках. И это генеральская невестка! Улеглись они вместе, но так и не заснули, проговорили всю ночь. Она поведала подруге о своей любви, и тогда Зеликсон-Бобровская решила отправить ее вместе с Аркадием Александровичем в Луганск, где нужны были опытные пропагандисты.

Так и началась их супружеская жизнь в Луганске. Фамилию ее вписали в паспорт мужа. Так и исчезла Конкордия Николаевна Громова, примелькавшаяся в охранном отделении.

Работы в Луганске оказалось ничуть не меньше. Приближался V съезд партии, готовились дать бой меньшевикам. Город был промышленный. Рабочие тянулись к политике. Конкордия Николаевна пропадала целыми днями и даже ночами: вела кружки на заводах, ставила типографию, писала листовки. Приходила всегда усталая и взбудораженная, но неизменно веселая.

Осень прошуршала желтым листом, пролилась холодными ливнями, застыла первыми морозами. И зима просвистела пургой да буранами, разукрасила улицы сугробами да придавила снежными шапками дома на рабочей окраине.

Приближался день памяти казни народовольцев. Конкордия Николаевна готовилась посвятить этой дате занятия в рабочих кружках. Она достала речи на суде Желябова, Кибальчича, Софьи Перовской.

— Аркадий, это поразительно,— разговаривали они как-то поздно вечером.— Послушай, что говорил Желябов: «Программа рабочих послужила основанием для господина прокурора утверждать, что мы не признаем государственного строя, что мы безбожники и т. д. Ссылаясь на точный текст этой программы рабочих, говорю, что мы государственники, не анархисты. Анархисты — это старое обвинение. Мы признаем, что правительство всегда будет, что государственность неизбежно должна существовать, поскольку будут существовать общие интересы...» — Конкордия Николаевна разволно-

валась, лампа выхватывала ее блестящие волосы, пушистые густые брови.— «Мы — не анархисты, мы стоим за принцип федерального устройства государства, а как средство для достижения такого строя мы рекомендуем очень определенные учреждения. Можно ли нас считать анархистами?»

— Действительно, Кона, поразительно! — Аркадий Александрович поставил стакан с чаем на кипу неразобранных книг.— Ты нашла письмо Желябова из Петропавловской крепости на имя прокурора судебной палаты. Ведь Желябова арестовали в меблированных комнатах у Тригори на несколько дней раньше, чем разыгралась драма на набережной Екатерининского канала. Там бомбы бросал Гриневицкий и Рысаков. Находясь в заключении, Желябов узнал об аресте Рысакова и написал письмо, которое я, не впадая в преувеличение, назвал бы историческим: «Если новый государь, получая скипетр из рук революции, намерен держаться в отношении цареубийц старой системы, если Рысакова намерены казнить, было бы вопиющей несправедливостью сохранять жизнь мне, многократно покушавшемуся на жизнь Александра II и не принявшему участия в умерщвлении его лишь по глупой случайности. Меня очень беспокоит опасение, что правительство поставит внешнюю закономерность выше внутренней справедливости и украсит корону нового монарха трупом юного героя лишь по недостатку формальных улик против меня, ветерана революции. Я протестую против такого исхода всеми силами души и требую для себя справедливости. Только трусостью правительства могло бы объяснить одну виселицу, а не две.

В январе и феврале я не раз вел с ним (Рысаковым) разговор о роли царей в судьбах русского народа и в связи с этим о необходимости их уничтожения вообще, если русские цари пожелают остаться при старой системе управления. Андрей Желябов. 2 марта 1881 г.».— Ты представляешь, отправить такое письмо в момент суда... Богатырь упрекал правительство в «трусости», опасаясь, что это правительство обойдется одной виселицей вместо двух! Оно поставило четыре, не убоявшись, предало казни и женщину — Софью Перовскую.

Конкордия Николаевна взяла письмо из рук мужа

— И Гесе Гельфман, ожидавшей ребенка, тоже была уготована смерть. Рысаков выдал квартиру Саблина и Геси Гельфман...

— А Софья Перовская на эшафоте, когда Желябов и Михайлов его простили, отказалась его простить.

— Что ж, иногда женщины бывают более последовательными... Я бы тоже не простила Рысакова...

— О Кибальчиче ты должна кружковцам рассказать особо. Выдающийся ученый. В делах охранки зафиксировано, что он собирал литературу на французском, немецком и английском языках о производстве взрывчатых веществ. Создал метательные снаряды, запалы для заряда к мине... А помнишь последнюю ночь перед казнью? Он не заметил, как она прошла — спешил закончить научные обобщения. За ним пришли палачи, а он писал...— Голос Аркадия Александровича дрогнул.— Какое величие духа! Даже стражникам стало не по себе.

Конкордия Николаевна слушала. Аркадий Александрович порылся в книгах и взял Евангелие, куда была спрятана рукопись.

— «Видя обострение борьбы правительства с партией и предвидя, что ей придется прибегать к таким средствам, на которые она раньше не решалась, я решился запастись теми техническими и химическими сведениями, которые для этого нужны. Я прочитал все, что мог достать на русском, французском, немецком и английском языках, касающееся литературы взрывчатых веществ, старался идти, когда, так сказать, au courant науки по данному вопросу, и все время, когда велась эта борьба, пока являлась необходимость для партии в технических сведениях, я содействовал в этом отношении партии. Таким образом я участвовал в покушениях под Москвой, Александровском и Одессой и вместе с другими лицами принимал участие в изготовлении снарядов. Затем, приехав в Одессу, я занимался подготовлением веществ, необходимых для взрыва. О московском покушении я только знал, что оно должно совершиться. Относительно александровского покушения мое участие ограничивалось доставлением туда спирали, которая не пошла в дело. Затем я переехал в Петербург. Всякий раз, когда являлась надобность приготовлять динамит, я участвовал в этом. Но нужно заметить, что мое участие в террористической деятельности ограничивалось исключительно научною техническою сферой. Я говорю это не для того, чтобы снимать с себя часть обвинения, а просто по чувству справедливости.— Аркадий Александрович расстегнул

воротничок и, проглотив горький ком, закончил: — Точно так же чувство справедливости побуждает меня заявить, что в изготовлении метательных снарядов, т. е. в изобретении идеи, в приспособлениях участвовал не я один. Это была скорее коллективная работа».

Конкордия Николаевна сидела, подперев голову ладонями. В глазах ее была невыразимая тоска. К привычному чувству боли примешивалось и новое — тревога за любимого человека, страх за его судьбу. Что должна была испытывать Софья Перовская, когда на Желябова надевали петлю? Как передать чувства Желябова, когда к позорной колеснице прикручивали руки его любимой женщины? Конкордия Николаевна встряхнула головой, пытаясь отогнать страшные мысли, на которые не могло быть ответа. С появлением в ее жизни Аркадия Александровича она стала сильнее привязана к жизни, обдуманнее совершала действия.

— «Господин прокурор говорил, что весьма важно выяснение нравственной личности подсудимого. Я полагаю, что то, что я говорю, относится к характеристике моей нравственной и умственной личности, если я заявляю свое мнение об известных существенных вопросах, которые теперь волнуют всю Россию и обращают на себя внимание. Я внимательно следил за речью господина прокурора, а именно за тем, как он определяет причину революционного движения, и вот что я вынес: произошли реформы, все элементы были передвинуты, в обществе образовался негодный осадок, этому осадку нечего было делать, и, чтобы изобрести дело, этот осадок изобрел революцию. Вот отношение господина прокурора к этому вопросу. Теперь в отношении к вопросу о том, каким же образом достигнуть того, чтобы эти печальные события, которые всем известны, больше не повторялись, как верное для этого средство — им указывается на то, чтобы не давать никаких послаблений, чтобы карать и карать; но, к сожалению, я не могу согласиться с господином прокурором в том, чтобы рекомендованное им средство привело к желательному результату...»

Аркадий Александрович умолк. Аккуратно сложил листок и засунул его в потайной карман Евангелия. Снял очки и грустно посмотрел на жену.

— Да, Кона... Чем больше я узнаю о народовольцах, тем больше поклоняюсь их благородству

...— Господин Самойлов, вынужден пригласить вас в участок для знакомства. Луганск — небольшой город, и интеллигентные люди должны знать друг друга.— На лице ротмистра подобие улыбки, глаза холодные, пытливые.— Не можете ли вы мне сообщить, почему у вашей супруги отсутствует паспорт?

Аркадий Александрович плотно сидел в кресле. Солидный, респектабельный, и вертел на пальце толстое обручальное кольцо. На лице холодная усмешка. Разговор с жандармским ротмистром ничего хорошего не предвещал. Он знал, что ротмистра интересует Конкордия Николаевна.

— В наш век каждая женщина заражена идеей эмансипации. В этой связи Конкордия Николаевна могла бы не претендовать на самостоятельный паспорт. К счастью, она верная и любящая супруга и такого вопроса в семье не возникало.— Аркадий Александрович наклонился к ротмистру и не без доверительности добавил: — Эмансипация хороша для каждой женщины, кроме жены!

— Чем объяснить ваш приезд в Луганск? — Ротмистр был весьма любезен.

— Каждый присяжный поверенный имеет конкурентов. Думаю, что в Луганске я буду испытывать конкуренцию коллег в меньшей степени. Город промышленный, практика предстоит довольно обширная. Если дела пойдут успешно и возникнет вопрос о поездке за границу, то, разумеется, придется позаботиться о паспорте для супруги.

— Значит, Крым интересовать вас не может? — не без упрека заметил ротмистр и протянул собеседнику портсигар.

— Что делать, дорогой господин ротмистр! — Аркадий Александрович взял папиросу и поднес к ней спичку.— Разве русскому обывателю внушает доверие юрист, который не побывал за границей?

— Может быть, вы и правы.— Ротмистр откинулся на спинку кресла и не без интереса изучал собеседника.— Как на это смотрит ваша супруга?

— Она женщина умная и повидать Францию не откажется. Отец ее духовного звания, и устои в семье крепкие.

— По-моему, вы выбрали не быстрый путь к обогащению, господин Самойлов.— Ротмистр старательно загасил окурок.— Коли за женой нет приданого, то о заграничной поездке можно пока только мечтать.

— Я женился по любви и приданым не интересовался, милостивый государь! — отрезал Аркадий Александрович.— Кроме того, я и сам в состоянии обеспечить свою семью...

— Имейте в виду, клиентами у вас будут артельщики да мастеровые. Двадцать копеек за написание бумаги, иные норовят и задарма...

— Нет, по двадцать копеек я брать не собираюсь. Долг каждого интеллигента вижу в бескорыстном служении обществу.— Самойлов посмотрел на ротмистра и с улыбкой добавил: — Впрочем, курочка по зернышку клюет, а сыта бывает! Важно доброе имя, а настоящий клиент найдется.

— Ваша правда... Мужик глуп, как свинья, а хитер, как черт! — зло заметил ротмистр.

«Значит, насолили тебе мастеровые...» — не без удовольствия подумал Аркадий Александрович. Излишняя прямота — отличительная особенность Коны, а он человек сдержанный.

И сказал вслух:

— Да уж коли заговорили пословицами, то зайца ноги носят, волка ноги кормят, а лису хвост бережет.

— А как же все-таки с паспортом вашей супруги?

— Она у меня красавица, думаю, вы со мной согласитесь. И я не заинтересован, чтобы она имела отдельный паспорт. Береженого бог бережет!

— Это разговор мужской.— Ротмистр понимающе взглянул на собеседника. «Да... Конечно, он не из красавцев, но не глуп, не глуп, это следует признать».— А почему, собственно, у супруги вашей нет вида на жительство? Вы же просвещенный человек. Явится какая-либо инспекция, и нет уверенности, что я не получу замечания по службе. Нет, вид на жительство все-таки следует иметь.

Самойлов спокойно встал, прошелся по кабинету. Конкордия Николаевна должна остаться в тени. Слишком большой счет у нее с охранкой. Охранка наверняка потеряла ее след. И ни паспорт, ни вид на жительство в тихом Луганске ей не нужны. Наконец Аркадий Александрович остановился около книжного шкафа, где в золотых корешках застыли тяжелые своды законов Российской империи.

— К чему этот разговор? Обратимся к законам. Том

четырнадцатый...— Он быстро открыл нужную страницу.— «Вид на жительство служит удостоверением личности, а равно правом на отлучку из места постоянного жительства в тех случаях, когда это право должно быть удостоверено... Никто не обязан иметь вида на жительство в месте своего жительства и даже при отлучке в пределах того уезда, где оно находится, а за пределами уезда — не далее 50 верст».— Аркадий Александрович громко захлопнул книгу.— Вы удовлетворены? Обещаю вам, коли жена отлучится на расстояние более пятидесяти верст, немедленно вам сообщить... Вернее, я ее просто одну никуда не отпущу.

— Браво! — произнес ротмистр.— Значит, муж собственник?

— Теперь относительно паспорта,— продолжал Аркадий Александрович.— Мне хочется вас вооружить на случай возможной инспекции. Я специализируюсь по гражданскому праву и прошу ко мне обращаться за любыми справками.— Он вновь перелистал тяжелые страницы: — «Свобода передвижения, самая элементарная свобода гражданина, вытекает из общих условий современной экономической деятельности, но ограничивается государством по соображениям общественной безопасности. Одной из важнейших форм ограничения является паспорт».— Аркадий Александрович взглянул на ротмистра.— «Паспорт есть официальный документ, выданный публичной властью в удостоверение индивидуальных свойств данного гражданина в целях облегчения контроля, особенно при передвижении. Такой документ может иметь двоякое значение: или он является лучшей (но не единственной) формой удостоверения личности в момент, когда возникает в нем потребность, или документ, выданный надлежащей властью, является непременным условием права передвижения, которое, таким образом, ставится в зависимость от усмотрения полиции».

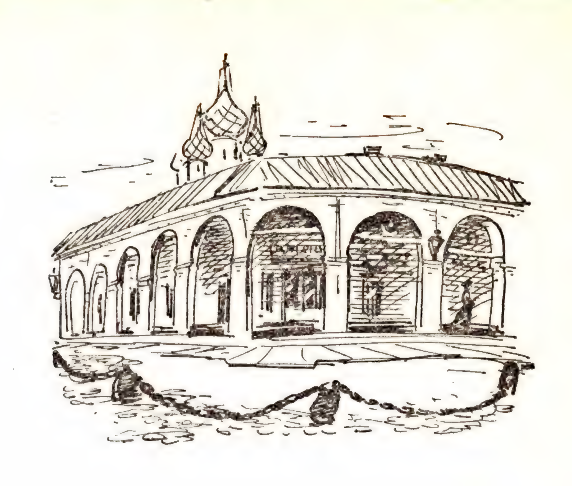
— В таком смысле мы имеем паспорт в собственном смысле слова: «лицо, не имеющее паспорта, подлежит уголовной каре».— Ротмистр продемонстрировал свою юридическую осведомленность.

— Поздравляю, господин ротмистр... У вас отличная память. И могу вас заверить, что моя жена вписана в паспорт мужа в соответствии с законом... Могу показать соответствующий пункт в Своде законов...

— Нет, господин Самойлов, увольте. Рад был познакомиться с вами и уберечь от возможных недоразумений. Да вы, батенька, дока в своих делах, сдаюсь...— И ротмистр широко развел руками.

Аркадий Александрович откланялся.





ПАРИКМАХЕР ПАРИЖСКОГО ТОЛКА

«Парик — головной убор из волос, сделанный в подражание природным волосам. Употребление чужих волос для прикрытия головы распространено было уже в древности: короли и воины надевали парик, чтобы внушать более уважения и страха. Мидяне, персы, лидийцы носили парик. Из Азии этот обычай перешел в Грецию и Рим, где особенно ценились белокурые волосы германцев. Во времена Римской империи ношение париков распространялось и на женщин. В средние века парик снова вошел в употребление при Людовике XI во Франции. В XVII веке парик становится все длиннее и больше, и, наконец, вошел в моду при Людовике XIV огромный парик, изобретенный парикмахером короля Бинетом. Кроме того, были еще парики, перевязанные на затылке бантом, и парики, засунутые сзади в сетку кошеля. При Людовике XV длинные парики вышли из моды и удержались лишь в судах. С начала XIX века парик утратил свое значение как парадное украшение, и его носят или из тщеславия, чтобы скрыть отсутствие натуральных волос, или для того, чтобы согревать лишенную волос голову...»

Татьяна в отчаянии захлопнула книгу, пудовую, с золотым тиснением. Поставила на полку. Да-с... Задачка?

Как это?.. Ах да, «его носят из тщеславия, чтобы скрыть отсутствие натуральных волос, или для того, чтобы согревать лишенную волос голову»? Прекрасно! Но лысины у нее нет, а, на беду, две громадные косы, густые, вьющиеся. Когда-то они были гордостью, а теперь превратились в «особую примету». Шпики по пятам ходят. Что же придумать? «Особая примета»! Девушка попробовала сделать пучок — на голове выросло целое сооружение. Скрутила и запрятала косы под кепку — при ее худобе мужской костюм частенько выручал ее,— голова получилась непропорционально большой. В общем, выбора нет — либо срезать косы, либо быть готовой к новому аресту. Срезать косы она не могла: стриженную нигилистку мать не приняла бы, да и самой жалко. А новый арест? Опять тюрьма, волчок в двери. К тому же новый арест за «совокупность грехов» обернется каторгой...

Здесь, в Умани, она добралась до явки и сидела теперь в скромной комнате учителя гимназии. Хозяина дома не было, она невесело обдумывала свое положение. В зеркальце отражалось ее лицо. Худое, озабоченное. Черные большие глаза, блестящие волосы. Господи, нужно купить парик! От радости она даже всплеснула руками. Подбросила кепку и с шумом отодвинула стул. Парики в Умани продавались. На центральной улице старый парикмахер держал в окне два парика. На болванках, выкрашенных черной краской. Один парик ярко-рыжий. Интересно, кто купит такую диковину?

Татьяна, смешливая от природы, развеселилась.

Другой парик — седой, в крупных локонах. Интересно, для кого? Ей вроде в ее восемнадцать лет не подходит... Значит, выбора нет — огненно-рыжий. Ну и вкус у распроклятого парикмахера! Может быть, выкрасить свои волосы в другой цвет? Например, в тот же рыжий — ведь никто не поверит, что такой цвет выбрала для конспирации. Она быстро поднесла к глазам флакончик «Титаника», где прилизанный мужчина обещал золотистый цвет. «Титаник» был настоящей бедой подполья. Какой бы цвет ни обещал мужчина, результат был всегда один — ядовито-зеленый, при дожде лицо было в грязных подтеках...

Татьяна с тоской потрогала свои косы. Ничего не поделаешь, надо идти на центральную улицу к проклятому парикмахеру за рыжим париком, годным разве что для цирковых представлений.

Парикмахер покупательнице обрадовался. Зачмокал, замотал головой от восхищения, трогая ее косы.

— Продайте, барышня... Большие деньги дам.— И, боясь, что ему не поверят, добавил: — Огромаднейшие...

Татьяна улыбнулась, недавнее раздражение пропало.

— Огромаднейшие... Видать, пан из Одессы.

Парикмахер восторженно закрутил головой. Это конкуренты заставили его, парикмахера парижского толка, покинуть прекрасный город Одессу и открыть заведение в этой дыре... «Парикмахер парижского толка» был в стоптанных башмаках и засаленной рубашке, брюки висели на нем мешком. Фартук его хранил следы ядовитого «Титаника». Конечно же, он продает парик, он гордился своим произведением.

— Мы работать умеем. Образованьице получали на Старопортофранковской... Обучались у Пупышкина — лучшего парикмахера Одессы! Прошлым летом скончался.— Парикмахер перекрестился.— Какая была у меня цирюльня... Матросы из Марселя приходили бриться! А прически какие...

Татьяне надоело это бахвальство. К тому же цирюльня эта была страшно грязная: на полу волосы, вонючие полотенца, плешивые помазки...

Парикмахер торговался привычно и охотно. Сразу была видна одесская школа! Сердился, возмущенно отворачивался и вновь кидался в торг, как в омут. Цену заломил невиданную — двадцать рублей. За такое безобразие и такие деньги!

— Купите, дорогая моя, в другом месте,— предлагал парикмахер.

Он шутовски присел и тут же схватил девушку за руку, когда она попыталась уйти. Конечно, в Умани другого парикмахера не было.

— Подожди, касатка, воскресного дня, тогда на базаре отставной унтер под горшок будет стричь. Вот потеха-то! Наденет горшок на голову и обрезает космы. А те, бараны, радуются! Все удовольствие-то пятак! Не хотят прийти в приличное заведение и посидеть под камчатным полотенцем...

Татьяна обомлела от такой наглости: эта грязь и вонь называется камчатным полотенцем!

— Давайте ваше чудовище, попробую примерить. Если сгодится, за пятерку возьму.

Она сказала твердо, и парикмахер понял — хватил лишнего. Засуетился, бросился к окну: под париком потягивалась кошка. Кончик пушистого хвоста ее вздрагивал. В зеленых глазах засверкали зеленые точечки. Кошка выгнулась дугой и стала тереться об ноги Татьяны. Девушка засмеялась. Собственно, чего она хочет от парика? Ей нужно изменить внешность. А рыжий так рыжий...

— Заприте дверь, пан парикмахер,— неожиданно предложила девушка.— Глазеть будут, а я этого не люблю.

— Никогда! Это же реклама...— прокричал парикмахер.

— Задерните тряпку,— потребовала Татьяна,— парик буду примерять...

Парикмахер подошел к окну и пытался натянуть простыню на гвоздь. Но это ему никак не удавалось. На другом конце простыни повисла кошка. Так и боролся цирюльник с зеленоглазой тварью.

Татьяна не торопила его.

Парик, против ожидания, оказался сносным, конечно, если не брать в расчет его ядовитый цвет. Косы она уложила аккуратно, парик сразу же изменил ее внешность. Она сидела на стуле и внимательно разглядывала себя в зеркале. Лицо преобразилось. Эдакий сорванец с рыжими космами. Парикмахер явно расстроился.

Она удовлетворенно разглядывала себя в зеркале. Славно! Пусть попробует охранка за ней погоняться...

Она сунула деньги растерявшемуся парикмахеру и бережно спрятала драгоценную покупку.

ПРОХОДНОЙ ДВОР

Наступил вечер, подсиненный ранними зимними сумерками. Татьяна держала в руках золотой фолиант, который открывался описанием герба города Одессы. «Щит разделен на две равные части; в золотой верхней части щита имп. орел с тремя коронами; в нижней червленой части щита серебряная о четырех концах с таковым же кольцом кошка (якорь)». А далее: «один из самых благоустроенных русских городов вымощен гранитом и известняком», «отличается большим количеством роскошных зданий». Лучшие улицы — Дерибасовская, Екатерининская, Старопортофранковская и Ришельевская. . Площа-

ди — Соборная с Кафедральным собором, памятником князю Воронцову... Сквер... Фонтан... Площадь Биржевая с зданием Думы, Городской публичной библиотекой и Английским клубом. Перед зданием Думы памятник А. С. Пушкину. Площадь Театральная с великолепным зданием театра и цветочным сквером. Лучший из бульваров — Николаевский с прекрасным видом на море. Гигантская лестница в двести ступеней...

Бой часов оторвал ее от чтения. Она подняла глаза. Ба, скоро три! Она сидела в здании Публичной библиотеки, куда частенько забегала, и с увлечением листала историю этого поистине прекрасного города, с которым она теперь связала свою судьбу. Приехала наивной девушкой из Тального, местечка близ Умани, а теперь уже член Одесского комитета...

Время было тревожное. Революционный шквал 1905 года был подобен девятому валу. Как-то ей довелось видеть штормовое Черное море. Зачарованно смотрела она на волны с Николаевской лестницы. Они были подобны обвалу. Пенистыми гигантскими языками поднимались до самого неба и, круша все, обрушивались на город, а потом зло бились о надолбы. И опять рвались волны, поднимаясь на безумную высоту, словно вызывая на единоборство притихший город. Ветер рвал крыши домов, пригибал к земле кроны деревьев, выворачивал скамьи в приморской части и отступал, пристыженный и рассерженный людским бездействием.

«Девятый вал» захлестнул и Россию. Татьяна хотела с отрядом боевиков выехать на помощь рабочим в Москву. Там строила баррикады Пресня.

Татьяна с жадностью просматривала газеты, сообщений было мало, но она научилась читать между строк. Нужно добыть оружие — и с отрядом в Москву. На Пресне идут бои. Возглавляет карателей полковник Мин. В городе введено «чрезвычайное положение».

Но поездка не состоялась.

В комитете Татьяна получила задание: доставить оружие в Матросскую слободку. Район рабочий, охранка действует осторожно. К тому же после «Потемкина» рабочие научились хранить оружие. Оружие доставили из-за границы (товарищ был глубоко законспирирован). Выбор пал на Татьяну. Парик и мужской костюм играли здесь немаловажную роль.

В комитете дали адрес: Полицейская. Пятое окно от угла. Дом с гербом Одессы. Гербы украшали богатые дома. Обычно она не обращала на них внимания, но номера дома в комитете не знали. Вот и забралась она в Публичную библиотеку, чтобы и герб посмотреть и время скоротать.

Она шла по Дерибасовской, параллельной Полицейской. Снег сыпал вместе с дождем. Ноги разъезжались, и она ежеминутно страшилась упасть. Мороз здесь редкий гость в декабре, но в этом году уже не впервой мороз серебрил деревья и разлапистые каштаны города. Но мороз держался недолго, начиналась оттепель, и прохожие с проклятием месили грязь. На заснеженных газонах проступала зеленая трава, а серое небо все посылало снег с дождем.

На явку было идти рановато, да она и не посмела бы прямиком оказаться на Полицейской. Она выбралась на Старопортофранковскую, подковой охватывающую город, шла медленно, попадались редкие прохожие, она оглянулась: оснований для тревоги как будто не было. И все же она волновалась: ее очень серьезно предупредили в комитете об осторожности. Она подняла воротник мужского пальто, пожалев, что отказалась от помощника. Обычно ее помощником был Ванюша. Широкоскулый паренек, усыпанный веснушками. Они вместе работали в мастерской.

Он будет поджидать ее на извозчике у проходного двора. Она боялась впутывать парня в такое серьезное дело. Тяжелые предметы она обычно переносила легко, да и речь-то шла об одном чемодане... Чемодане браунингов!

Она поставила ногу на скамью и старательно принялась затягивать шнурок. Прием старый, когда нужно провериться. Улица была пустынной. Только каштаны, затканные льдом, охраняли ее, стояли как часовые.

Она шла вдоль Пушкинской. Она умела рассчитывать время. На явке должна быть минута в минуту. Неточности она, подпольщица, не могла себе разрешить. Нужно пройти восемь перекрестков, а на девятом Пушкинская перекрещивается с Полицейской.

Поглядывала на витрины магазинов. Модная одежда на манекенах. Распомаженных и нагловато улыбчивых. Магазин, видимо, принадлежал французу. Вот и сейчас

толстяк на коротких ножках стоял у витрины и натягивал мужское пальто на манекен. Витрина магазина зеркальная. Слава богу, никого.

Она свернула направо и пошла по Полицейской, цепко вглядываясь в дома с гербом города Одессы. Прошлась вдоль трехэтажного особняка, вернулась, уверенно толкнула калитку. Особняк был длинный, с большим количеством окон, он скрывался за ажурной оградой. Над входом его был герб. Яркий. Умытый мокрым снегом. Квартира на первом этаже. Она отсчитала пятое окно от угла. Вот красная герань. Значит, все в порядке. Старательно вытерла ноги. Дернула ручку звонка. Послышались приглушенные шаги. Дверь приоткрылась, и она быстро скользнула в переднюю.

Мужчина встретил ее внимательным взглядом. Холеное лицо. Усы закручены в колечко. Черный костюм. На пальце перстень. Запонки золотые. Строгий галстук бабочкой, накрахмаленные манжеты. Она оробела. Хитрые смешинки запрыгали в умных глазах. Конечно, понял ее состояние.

— Могу я повидать доктора Чувилова? — простуженным голосом справилась она, переступая с ноги на ногу.— Чувилова Алексея Петровича?

— Доктор Чувилов еще не возвращался с вызова,— прозвучал ответ. Смешинки в глазах прыгали все озорнее и озорнее.

— Не оставил ли он для слесаря какие-нибудь инструменты? — закончила Татьяна Людвинская и невольно улыбнулась.

— Пожалуйте, здесь сумка для вас.— Он крепко пожал ее руку и решительно потребовал: — Скорее на кухню... Там горячее молоко... Не день, а тюрьма...

— Да, погодка... Семь погод на дворе: сеет, веет, крутит, мутит, рвет, сверху льет, снизу метет,— подхватила Татьяна.— Так у нас дома говорят.

— А вы откуда, товарищ?

— Из Тального... Такое местечко...— Она вытерла лицо и поинтересовалась: — А где же чемодан?

— Сразу и чемодан? — с иронией заметил мужчина.— Конспираторы! Зачем слесарю чемодан? Ему сумка с инструментами нужна — так проще и надежнее. Да, кстати, мне сказали, чтобы я поджидал женщину... Что-нибудь случилось?

— Нет, просто так удобнее. Шпики заприметили меня из-за кос, вот и приходится выкручиваться.— Татьяна почувствовала, что краснеет.

— А где же косы?

— Небольшая женская хитрость...

— А...

— Где сумка?

— Вы думали, что сумка вас при входе будет поджидать? — Он улыбнулся и дружелюбно положил руку ей на плечо: — А вы молодчага! Вот уж не думал, что в такую погоду придете, да еще с такой пунктуальностью... Молодчага...

Незнакомец с явным удовольствием рассматривал девушку. Потом увлек на кухню, испугав ее блестящими кастрюлями и цветными изразцами. Предложил снять пальто. Татьяна отказалась — время было рассчитано точно. Обжигаясь, проглотила молоко. Почувствовала, как голодна. Хозяин нарезал ломтями хлеб. Заставил ее еще выпить стакан молока. Молоко с черным хлебом показалось ей необыкновенно вкусным. И она вновь оглядела незнакомца. Барин, а молоко горячее приготовил... Человек! Ничего не скажешь...

— Как у вас дела? — Он достал портсигар.— Вы не курите? — засмеялся, увидев испуг на ее лице, закурил.

— Дела идут, товарищ,— сказала она и, не скрывая нетерпения, потребовала: — Давайте сумку... Погода-то какая...

— Разыгралася погодка верховая, волновая! — речитативом пропел незнакомец, и в глазах грусть.

«Да, видно, немало досталось ему в жизни,— подумала Татьяна.— Песня-то каторжная... А человек-то какой! В такое времечко оружие доставил...»

Сумка ничем не отличалась от обычных сумок, с которыми ходят мастеровые по Молдаванке. Потертая, с ручкой, замотанной для прочности проволокой. Тяжесть-то какая... Но нести нужно легко, не показывая и виду, что, кроме инструментов да завтрака в старой газете, в сумке есть еще что-то.

Девушка петляла проходными дворами да проулочками, не зря все свободное время над картой Одессы проводила. И то сказать, зачем мастеровому человеку шагать по барским улицам да в этакую погоду! Рука затекла. Если бы не сознание, что в сумке оружие, то вряд ли бы она

сумела ее дотащить. Потом долго дивилась — через всю Пушкинскую пуд пронесла без малого!

На углу Преображенской и Почтовой — она возвращалась другим путем — ее должен был поджидать Ванюша на извозчике. Оставался один проходной двор. Ворота были на запоре, приоткрыта лишь калитка. «Устала, очень устала — вот и дворовый колодец кажется тюрьмой,— подумала Татьяна.— Прыгнешь в такую калиточку и останешься года на три... А были ли закрыты ворота утром? Нет, вспомнить не могла. Учили тебя, учили! Утром и нужно было бы пройти мимо этих ворот, проверить. Нет, все это глупости. Так можно научиться бояться собственной тени. Попробуй-ка обойди все подворотни и все подъезды!..»

Вздохнув, она толкнула калитку. Прошла по длинному каменному коридору и оказалась во внутреннем дворике. Дома обступили ее. Дворик показался глубоким колодцем, куда и солнце не проникает. И в этом дворике солдаты... Солдаты плотно набились в этом каменном мешке. У противоположных ворот, тех, которые вели на Почтовую, двое городовых. Это, конечно, для объяснений с «чистой публикой». И действительно, толстяк городовой что-то втолковывал дамочке с крохотной собачкой на руках. Городовой взял под козырек, отступил на шаг. Дамочку пропустили.

Она поняла: мышеловка. Западня в проходном дворе! А у нее оружие! Браунинги! Браунинги, которые с таким трудом доставили из-за границы... Стрелять? Пистолет у нее в боковом кармане. Нет, нужно выждать. Возвращаться на Преображенскую, дескать, ошиблась домом. Оглянулась. Ворота заняли городовые. Стоят, нахохлились. Мышеловка... Нырнуть в подъезд? Но там двери наверняка заперты, и в каждом филеры да дворники.

Она замедлила шаг, борясь с волнением. Слушала, как гулко бьется сердце. Идти стало трудно, но тяжесть сумки исчезла, вернее, она просто уже не ощущала ее. От волнения не различала лиц солдат, только серые пятна. Она остановилась, стараясь выиграть время, поставила сумку на талый снег. Вздохнула. Стрелять или нет? Она убьет одного — вот этого надувшегося индюка-городового... Но до ворот далеко. Ее схватят. Больше одного выстрела сделать не дадут... А оружие, все это богатство, окажется в полиции. В полиции, а не у рабочих.

О смерти она не думала. Нет, надо держаться. Мало ли что может преподнести господин случай! Она всегда надеялась до последнего. Надеялась и на этот раз, хотя понимала безнадежность...

Татьяна подняла сумку и двинулась вперед. Длительная задержка показалась бы подозрительной. Теперь она отчетливо разглядела городового. Лицо помятое, припухшее, с красными веками и склеротическими прожилками на носу. Она больше не замедляла шаг. Расстояние между нею и солдатами, охранявшими ворота на Преображенскую, сокращалось с каждой секундой. Вот и солдаты. Погоны, на которых капельки мокрого снега. Унтер прохаживается вдоль оцепления, три шага направо, три налево. Двигается равномерно, словно маятник. Служака, щеки надутые, грудь колесом. У пояса пистолет. Такой раздавит и не заметит... Сердце мучительно ноет. Еще несколько шагов, и конец. На что же надеяться — они же обыскивают каждого! Вот студент выскочил из парадного, со злостью выворачивает карманы. Но ее, женщину, тоже будут обыскивать. На беду, она в мужском костюме, а так можно было бы еще повоевать. Хотелось закричать, повернуться и скрыться в любом подъезде: бывают же в жизни такие чудеса! И все же она шла вперед. Внешне спокойная. Потом через годы она сама удивлялась собственной выдержке. Если есть на спасение хоть один шанс из ста, она обязана им воспользоваться. Оружие — главное. Все остальное казалось неважным, все отступило на второй план.

Дальше идти некуда. Она остановилась. Городовой зло выговаривал студенту, не желавшему отвечать на вопросы. Студент язвил, хохотал, извивался, и было видно, что он просто дразнит городового. Потом он опустился прямо на снег и принялся расшнуровывать ботинки:

— Господин городовой, вот ботинок, можете убедиться, что в нем нет оружия...— Студент бил себя в грудь и, закатив глаза, крестился: — Господи, преврати меня в соляной столб, коли я вру...

Унтер, подкрутив ус, подозвал солдата.

— Обыскать! — бросил он зло. Унтер равно не одобрял ни поведения студента, ни медлительности городового.— Да, да, обыскать...

Она опустила сумку на землю. Поставила на сухое местечко и приготовилась ждать развязки.

Солдат козырнул и сделал шаг вперед. Произнес деревянным голосом, подражая унтеру:

— Оружие есть? Литература?

— Мы — мастеровые с Молдаванки... Зачем нам оружие? Здесь у господ водопровод чинили, потолок протек...— Она отвечала не спеша.

— Подними руки! — приказал солдат, оглядываясь на рассерженного унтера.

Студент сбросил шинель на мокрый снег и грозился снять не только мундирчик, но и рубаху. Студент выказывал великое старание, и это было явной издевкой.

— Подними руки! — повторил солдат, невольно прислушиваясь к крикам студента.

— Смотри, ваше благородие! — с вызовом бросила она, устав от долгого ожидания.— Смотри... Один черт...

Она подняла руки. Вот и все. Как это быстро и просто. Сейчас солдат обнаружит пистолет и еще в сумку заглянет. Унтер, поди, как обрадуется: пожива! Да еще баба в мужском наряде. Сказки будут в участке рассказывать. Конец! Сердце билось яростно. Да, конец! По чрезвычайным законам, введенным в декабрьские дни «при обнаружении оружия — расстрел на месте без суда и следствия». Расстрел... почему бы для нее не сделать исключения? Лицо исказила болезненная гримаса. Да, действительно, почему? Оружие есть и в кармане, и в сумке. Впрочем, она пощады и не думает просить: как все, так и она.

Солдат был невысокого роста. С чернявым лицом, быстрыми глазами в густых ресницах. Рот крупный. В уголках губ сердитые складки. «Небось ему и расстрелять поручат. Что ж? Такой расстреляет. Вот и винтовку перекинул через плечо. На шинели осталась полоса от ремня. Неужто такой снег? Солдат-то, как Дед Мороз в пушистой вате».

Она с какой-то болезненностью всматривалась в солдата, стараясь его запомнить. Впрочем, зачем? Если так скоро наступит небытие... И все же она не отводила глаз от лица солдата.

— Рррас-стег-ни пальтишко, парень! — Очевидно, солдат повторил эту фразу несколько раз. Шея покраснела, голос звенел: — Рррас-стегни... Одурел от страха, что ли? Вишь ничего не слышит...

Она с безразличием расстегнула пальто. Очевидно, от

волнения она плохо понимала, чего требовал солдат. Унтер довольно кивнул солдату и направился к неугомонному студенту, который, словно на торгах, в расстегнутой рубахе швырнул на землю скомканную шапку.

Руки солдата начали прощупывать карманы пальто. Пистолет лежал в правом. Под его тяжестью карман провисал. И сразу же руки солдата обнаружили оружие. Глаза его расширились от волнения. Испуганно забегали зрачки. Для верности или от неожиданности он заглянул в карман. Да, заглянул в карман. И отпрянул. Рука, вздрогнув, опустилась. Глаза их встретились. Ее — усталые и спокойные, его — встревоженные и безумные. Казалось, он кричал: «Нет... Нет... Нет!..» А она, посмеиваясь, твердила: «Да... Да... Да...» Но вот глаза солдата сузились, беспокойно метнулись и застыли.

— Ты что, словно бабу щупаешь? — загоготал унтер, которому явно надоела перепалка со студентом.

Студент уже лез обниматься с городовым.

Солдат опустил руки. Кругом засмеялись. Проторчи день-деньской под мокрым снегом, вылавливая смутьянов, любому будешь рад.

Солдат подобрался. Грубо выругался.

— Про-ходи, бро-дяга! — гаркнул он.— Кому велено... Носит тут всяких...

Она не шелохнулась, боялась, что ослышалась. Вытерла ладонью пот со лба. С трудом соображала. Солдат... Оружие... Солдат... Унтер... Но сумку подхватила, как перышко, не давая возможности солдату заглянуть в нее. В глазах улыбка. Женская. Беспомощная.

— То-пай... То-пай, браток! — торопил ее солдат, поглядывая на приближающегося унтера.— Делов полон рот... Какого черта мешкаешь...

Солдаты, занявшие проход, расступились. Она еще раз оглянулась на своего спасителя и оказалась на Почтовой. Шла торопливо, ожидая погони. Шла, боясь поверить в удачу, поверить в жизнь.

Солнце выкатилось из толщи облаков и, раскидывая широкие лучи, заливало город. И новое, неизведанное чувство радости жизни охватило ее.

На перекрестке у мясного магазина стоял извозчик. Верх пролетки, сложенный гармошкой, был раскрыт и залеплен мокрым снегом. В глубине угадывалось знакомое лицо. С крупными рыжими веснушками. Ванюша! Он

с тревогой смотрел на приближавшуюся девушку. Вот соскочил и, нарушая конспирацию, кинулся навстречу. Выхватил сумку из рук и что-то пробормотал невнятное.

Татьяна не сделала ему замечания. Безвольно передала сумку, за которую едва не заплатила жизнью, и опустилась на сиденье. Извозчик хлестнул лошадь. Она не удержалась и ударилась головой, провела рукой по лицу — слезы... Значит, она плакала?

Она закрыла глаза и старалась забыться, как после кошмарного сна. А город бежал знакомыми улицами и домами, площадями и фонтанами.

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ УЛИЦА

На Александровской улице, застроенной ровными двухэтажными домами, с редкими тополями и пыльными палисадничками, царило непривычное оживление. По трамвайным путям шагали рабочие Военно-артиллерийского завода. Завод этот был расположен на Лесной, но Татьяна Людвинская, дружившая с рабочими, вызвала их на помощь. Она стояла у подъезда иллюзиона «Олимпия» и, словно всю жизнь этим занималась, давала распоряжения.

Рабочим с Лесной она обрадовалась. Подошла к колонне, поздоровалась со стариком. Рабочие шли нестройно, равнение не держали, у правофланговых на ремнях болтались пустые кобуры. Были в отряде и женщины, правда немного. В теплых платках и сапогах. На груди у большинства рабочих красные банты — еще со времен Февральской революции. Многие знали Людвинскую, вели себя буднично, разговаривали, покуривали.

Она чувствовала себя виноватой: райком не сумел вооружить отряды.

Бородач вышел из строя и, сутулясь, остановился около нее. Брови насуплены, но глаза веселые.

— Живее, живее! — торопил бородач парней.

Парни за́мыкали колонну. За собой они тащили березу, вывороченную ветром. Береза шелестела сухими ветками, мешала им идти.

Татьяна любила этот завод, частенько наведывалась туда и небескорыстно — доставала там и револьверы, и винтовки, и гранаты. Она пристроилась к колонне и,

испытывая радостное чувство от соседства с этими людьми, успокоилась и даже повеселела.

— Молодцы, что пришли,— повернулась она к бородачу, который не отходил от нее.— Юнкера вот-вот полезут на штаб... попытаются выбить нас из «Олимпии».

— Не дадим...— прогудел бородач.— Видали, как муравьи, траншеи роют... Всю Александровскую разворотили, да и дух боевой...

— Дух боевой, да оружия маловато. А пришли вы вовремя.

— Так нам из «Дрездена», из штаба позвонили.— Бородач довольно улыбнулся, проведя ладонью по прокуренным усам.— Рабочих-то держали в цехах.

— Как держали? — Татьяна наткнулась на березу, которую волокли парни.— Фу... Так и ноги можно переломать...

— Держали на всякий случай, Татьяна Федоровна.— Козлов хитро подмигнул.— Времечко-то тревожное, и оно надежнее, когда рабочий человек под ружьем.

— Значит, и березку прихватили неспроста? — хитро поинтересовалась Людвинская.— Баррикады решили возводить?

— Как придется! — многозначительно ответил Козлов.— Парням-то небольшой труд.

Обстановка осложнялась. Юнкера заняли все подступы к иллюзиону «Олимпия». В центре шли бои за каждый дом, за каждую улицу. Горел Малый театр. Рабочие отряды стягивались к Кремлю... Да разве можно перечислить все улицы и площади, где шла перестрелка. И здесь в Сущевско-Марьинском районе нужно было навести порядок.

Людвинская приказала занять круговую оборону. И опять, как в девятьсот пятом, появились мешки с песком, которыми закрывались оконные проемы. Стекла хрустели под ногами. Революция в Москве!

Вдоль Александровской пролегли траншеи. В траншеях засели рабочие фабрики «Дукс».

Хорошо, что подступы к штабу закроют от юнкеров. Есть сведения, что к Москве стягиваются части, верные Временному правительству. По Николаевской и Виндавской дороге идут эшелоны с войсками и оружием, нужно их перехватить... Теперь главное — оружие... Если бы поставить под ружье рабочие отряды, то положение сразу изменилось бы.

— Татьяна Федоровна, штаб вызывает! — из разбитого окна высунулся парень.

В большом зале, заваленном креслами, в центре, под люстрой, стоял стол, покрытый бархатной скатертью. Бархатная скатерть и лампа в позеленевшей бронзе придавали залу, стены которого поглощала темнота, довоенный вид. Здесь же была и непременная «буржуйка» — печь с трубой, выведенной в окно.

Стол окружили военные из двинцев, здесь же были и рабочие с фабрики «Дукс». Стояло дымное облако, густое и плотное.

Татьяну Федоровну пропустили к столу, и круг сомкнулся. На столе появилась карта. Кто-то из двинцев крестиками отметил места баррикад.

Карту Людвинская научилась читать сразу. У нее была удивительная способность быстро постигать то, что было необходимо.

— Козлов, бери отряд и срочно на Долгоруковскую,— обратилась она к бородачу из отряда рабочих Военно-артиллерийского завода.— Там, у Бутырок, строят баррикады. На Александровский вокзал должны прибыть части с фронта. Железнодорожники, конечно, попытаются их задержать, но нужно готовиться к худшему.— Она, устав от бессонных ночей, от шума и табачного дыма, кричала: — Значит, баррикады будем строить на Брестской, на Миусской... Везде, чтобы отрезать подходы к Александровскому вокзалу.

— Татьяна Федоровна, воинские части могут двинуться и с Виндавской дороги,— возразил ей худой прапорщик, обводя кружком Виндавский вокзал на карте.— От Виндавского до Марьиной рощи рукой подать...

— Конечно, главное — Марьина роща! — улыбнулась Людвинская.— Впрочем, вы правы, нужно послать пропагандистов и на Виндавскую дорогу. Семенчук, возьми ребят потолковее — и на вокзал! Я попробую выяснить обстановку в «Дрездене». Если дозвонюсь...

Казалось, в эти дни не было ничего страшнее, чем телефон. Человечество придумало его для своей муки. Телефон появился, и было бы неразумным его не использовать. Но как? Телефонную станцию в Милютинском контролировали белые, потом их выбили, охрану приняли революционные солдаты. Только положение не изменилось: телефонистки не желали помогать революции, соеди-

няли крайне неохотно, не давали нужных номеров. Тогда на помощь пришли солдаты, люди несведущие в телефонном искусстве.

Людвинская поклялась в душе — таким несовершенным видом связи, как телефон, не будет пользоваться. Она испытала все стадии его освоения, лучше идти под пули, чем часами кричать в глухую трубку: «Барышня... Барышня... Барышня...» Наконец «барышня» отзывалась густым басом и требовала объяснить, куда следует эти проклятые провода «втыкать»! И начинались новые мучения — из ста звонков оканчивались успехом пять-шесть. И это вселяло надежду! К тому же события накатывались шквалом, требовали незамедлительных и срочных решений, и удержаться от соблазна телефонной связи оказывалось невозможным. И опять начиналась эта карусель: обращение к барышням, крики в телефонную трубку...

— Барышня... Барышня... Барышня...— надрывалась Людвинская, прижав трубку к уху.— Потише, товарищи! — просила она рабочих.

— Ти-хо, братва! Ти-хо...— вторил Петрухин, парень с фабрики «Дукс», связной райкома.— Дайте Татьяне Федоровне поговорить. Нема обстановочки...

— Барышня! Гостиница «Дрезден»! — Людвинская явственно услышала: в трубке что-то запищало. Значит, станция работала! Она отчаянно закричала в черную немоту: — «Дрезден»?

Трубка трещала, глухо рокотала, завывала, но ответа не давала. Послышались отдаленные выстрелы, крики и густой бас ухнул:

— Я — барышня! Гони номерок!

— Гостиница «Дрезден»! — Людвинская припала к трубке, даже покраснела от напряжения.— Что происходит на станции, товарищ?

— Юнкера напирают. Барышни в обмороках валяются.— Голос рокотал с такой силой, что, казалось, его можно было услышать, не прибегая к помощи телефона.— Твоего номерка нет... Может, и есть, да не сыщу... А, черт!

В трубку что-то ударило. И все смолкло.

— Сироткин, бери отряд и на Милютинский к телефонной станции.— Людвинская еще держала трубку, вслушивалась.— Помогите — юнкера совершенно распоясались!

На этот раз у телефона остался Петрухин, на случай,

если станция начнет работать. А она, усевшись за круглый стол, вела совещание. И опять табачный дым плыл по залу, и опять толпились рабочие с фабрик и заводов, и опять уходили отряды на задания. Жизнь диктовала свои законы, жизнь требовала незамедлительных и безошибочных решений. И сквозь ворох этих забот одна мысль, тревожная и беспокойная,— оружие. Планы рождались фантастические. Да и у советчиков были лихие головы. Она и сама горячилась, но, глядя на возбужденные лица, сдерживала себя. За годы испытаний она многому научилась. Пришли мудрость и неторопливость — верные сестры успеха.

— Броневик... Броневик...

Людвинская услыхала резкий крик Петрухина, подняла голову. На стол упали осколки оконного стекла. Казалось, в окнах и стекол-то не осталось, а вот смотри ты — опять осколки! Качнулась люстра, и по скатерти поплыли темные тени, посыпалась штукатурка с потолка. Значит, по «Олимпии» била артиллерия. Вот бандиты!

— Ложись! — скомандовал Петрухин и требовательно взглянул на столпившихся у стола рабочих.— Обстрел начался... Эх, мать моя... Ложись!..

Людвинская кинулась к окну, прижалась, осторожно просматривая Александровскую улицу. Вот и булочная, и дом Попова с красной крышей, и разбитый молнией дуб... Ба, броневик!

В глубокой траншее вертелся броневик. Дымил, пятился, старался взять разбег и перевалить через траншею. Но траншея оказалась глубокой. Башенка броневика начала вращаться, и резкая пулеметная очередь прошила второй этаж. Людвинская инстинктивно втянула голову, но от окна не отходила. Раздался звон, с грохотом обрушилась люстра. Послышались частые выстрелы. Из подъезда выбегали рабочие и прыгали в траншеи.

— Зря не стрелять, братва! — Петрухин уже командовал на улице.— Патроны береги... Пат-ро-ны...

Броневик, словно слепой, ползал вдоль траншеи, тыкался, пулемет его умолк и лишь изредка посылал шквал огня на затихший иллюзион.

Людвинская видела сверху, как жались к броневику юнкера. В длинных шинелях казавшиеся в лучах заходящего солнца неестественно большими. По неслышной команде вскидывали винтовки, вспыхивал и плясал огонек.

Неутомимый Петрухин перевалился через окоп и исчез в нем. Тень его мелькнула у булочной Попова. Юнкера не ожидали нападения с тыла, с чердака, захлебываясь, строчил пулемет. Броневик пытался развернуться, заставить замолчать пулемет на доме Попова, но мешали залпы, ими ощетинились траншеи. Юнкера не стреляли, они не отрывались от броневика, настороженные и злые. В траншее мелькнула высокая фигура Петрухина, раздалось победное: «Ура... Ура...» Из траншей выпрыгивали рабочие и, перейдя в контратаку, яростно набросились на юнкеров. Броневик молчал, схватка разгоралась. Броневик качнулся, зачихал, затарахтел и, окутанный облаком дыма, попятился. И эту атаку отбили.

— Товарищи, заседание можно продолжить! — с завидной невозмутимостью подошла к столу Людвинская.— Не удалось «спасителям отечества» захватить «Олимпию»...

Вернулся Петрухин. Сдвинул шапку на затылок и деловито принялся сбрасывать штукатурку со стола. Людвинская стряхнула карту. Хрустело битое стекло под ногами. Плыл дым — это курили рабочие, словно и не было боя.

— Татьяна Федоровна, принимай патроны!

Людвинская кинулась к двери. Патроны в такое время!

Петрухин, раскрасневшийся и счастливый, поспевая всюду, тащил ящик патронов. За ним двигались двинцы.

— Петрухин, откуда? — Татьяна Федоровна боялась поверить собственным глазам.

— С юнкерами хорошенько поговорили.— Петрухин отвел хитрющие глаза.

— Что? — переспросила Людвинская.

— Патронов нет, а как быть? Винтовки-то лежат без дела... Вот и решили потрясти юнкеров.

— Потрясли? — уточнила Людвинская.

— Потрясли... След-то и привел на Виндавскую дорогу, там на запасных путях и нашли вагон. А в вагоне двадцать ящиков патронов!

— Молодцы... Складывайте в угол, потом раздадим по отрядам.

Татьяна Федоровна взяла железную кружку и налила в нее кипяток. Размочила сухарь и, обжигаясь, довольная, пила мелкими глотками. Патроны раздобыли. Хорошо! Она вслушивалась в неторопливый говор и смотрела,

как росла пирамида из ящиков. Вот и пригодились винтовки с Виндавского вокзала...

И припомнилась ей ночь, холодная октябрьская, когда она очутилась на Виндавской дороге. По секрету через солдат узнала, что в одном из вагонов оружие. Генерал Духонин стягивал к Москве войска. Воинский эшелон охранялся тщательно. На путях находился офицерский патруль — солдат боялись ставить в охрану. Но железнодорожники смекнули и один из вагонов загнали на запасной путь. К этому вагону они и направлялись в ту темную ночь. На небе ни звездочки, слышался только отдаленный лай собак да испуганный вскрик паровоза. Пробирались осторожно, обходя эшелон и страшась налететь на патруль. Слабый изломанный луч фонарика вспыхивал и угасал, погружая предметы в густую черноту. Впереди шел проводник, пожилой путеец, шепотом подавал команду. Прошумела компания подвыпивших офицеров, гортанно потребовали пароль и вновь тоскливо отозвался паровозный гудок. Бледный луч скользнул по вагону, заплясал, освещая неразборчивые надписи, и угас. Путеец осторожно кашлянул и замер.

Людвинская скорее догадалась о его действиях. Тьма была кромешная. Вот он откатил дверь, бесшумно прошелся вдоль вагона, поднял руку и мягко, по-кошачьи, взобрался в него. Потянулись томительные минуты ожидания, из распахнутой пасти вагона выпрыгивал ломкий луч и испуганно замирал. Ее подсадили в вагон. Пахнуло затхлостью и холодом. Среди раскиданного брезента лежали ящики. Мелом белела надпись: «Селедка». Ящик осторожно придвинули, вскрыли топориком. Вскрыли бесшумно, как все, что делали в эту темную ночь. Винтовки... Они лежали плотно, закрытые вощенкой, густо смазанные маслом. И ей почему-то вспомнился Стокгольм, когда она переправляла оружие в Россию. А теперь в России была революция, и она снова с риском для жизни добывает оружие.

В морозном воздухе гулко отдавались простуженные голоса. Очевидно, возвращалась ночная бригада паровозников. В вагоне замерли, погасили фонарик. Путеец остался в вагоне, а она ушла за рабочими на Трифоновскую. Через два часа привела рабочих. Тишина звенела в ушах, болезненно сжималось сердце, а из вагона уплывали винтовки. Прогромыхал состав порожняка. Это путейцы пригнали

состав для прикрытия. В темноте горели костры, у эшелона постукивали сапогами патрульные.

Давно остыла железная кружка в руках, глаза слипались от усталости. Она сидела на пыльном креслице и слушала, как потрескивали дрова в «буржуйке». По сочувственному взгляду Петрухина поняла — спала. Вот так, на ходу, закрыла глаза и уснула, лишь память ворошила страницы былого.

— Татьяна Федоровна, получил вашу пайку.— Петрухин подсовывал ей горбушку хлеба, клеклого и подгоревшего.— Поди, из «Олимпии» три дня носу не высовывали, есть-то охота...

— Моя пайка...— В голосе Людвинской неуверенность.— Уменьшили пайку на сто граммов, а здесь...

— Уменьшили, сам знаю — здесь за два дня... Берите, все точно! — Петрухин положил хлеб на стол.— Моя мать ненавидит спекулянтов, зовет их «пискулянтами». И когда мы с ними наведем порядок...

— Вот это и должны делать рабочие отряды.— Людвинская с жадностью откусила кусок. Удивительная особенность: нет хлеба — и она терпела, но если хлеб попадался на глаза, то глотала, как чайка.— Как раздобыл патроны? Я проспала твой рассказ.

— Да я ничего не рассказывал,— вывернулся Петрухин.— Без сна лошадь и та падает. Плохое дело, Татьяна Федоровна!

Она молчала. Наступили редкие минуты затишья. Разгоралась печурка. Топили ее мягкой мебелью, к огорчению Людвинской. Дров не было, а кресел в иллюзионе предостаточно. Вначале она возмущалась, но кресла растаскивали, и ей пришлось махнуть рукой на такое безобразие. Красногвардейцы приносили кресло разрубленным, кидали на пол у «буржуйки». Видеть, как рубили и корежили кресла, она не могла. Рубили на лестнице, оттуда доносился оглушительный грохот, а потом появилась эта аккуратная стопочка.

«Вот нашли на чердаке рухлядь!» — басил Петрухин. Она грозила ему пальцем, но было холодно, окна были выбиты, заколочены досками, а мешки с песком не спасали.

— Покрутились ребята у Александровского юнкерского училища. У ворот часовой из зеленых юнцов. Пороха не нюхал, его маменька выпестовала на пирогах, а тут революция! — Петрухин опустился на колени и начал

раздувать огонь в печи.— Самые страшные на свете люди — юнцы. Жизни не знают и об опасности имеют самые отдаленные представления. Чем таких удивить можно? Мы решили дождаться одного офицера. Давненько на примете держим: и на собраниях бывает, и лицом светлый. Значит, подкараулили офицера и начали с ним беседу: так, мол, и так, не будет оружия — порешим. Офицер засмеялся и велел ночью к забору подойти. Там в углу нужно было дощечки выломать и взять ящики. Сказал и сделал... Человек!

«МАНИФЕСТ ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА МОСКОВСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ. КО ВСЕМ ГРАЖДАНАМ МОСКВЫ

Товарищи и граждане!

После пятидневного кровавого боя враги народа, поднявшие вооруженную руку против революции, разбиты наголову. Они сдались и обезоружены. Ценою крови мужественных борцов — солдат и рабочих — была достигнута победа. В Москве отныне утверждена народная власть — власть Советов Рабочих и Солдатских Депутатов.

Московская победа закрепляет всемирно-историческую победу петербургского пролетариата и гарнизона. Под грохот мировой войны в столице России центральная власть перешла в руки Всероссийского Съезда Советов. Это власть мира и свободы. Это власть, которая предложила мир, передала землю крестьянам, отменила смертную казнь, введенную изменником революции Керенским. Верховный полномочный орган всей российской демократии выдвинул ее. И всякий, кто поднимет против нее вооруженную руку, будет сметен революционным народом.

Московская буржуазия пулеметами юнкеров и револьверами белой гвардии объявила восстание против народного правительства. Ей нужно было снова возвратить землю помещикам, восстановить смертную казнь, затянуть дело мира.

Беззаветный героизм солдат и Красной Рабочей Гвардии спас революцию.

Сломив сопротивление врага, Военно-революционный комитет объявляет от имени рабочих и солдат:

Все меры будут приняты для восстановления нормальной жизни города. Фабрики и заводы будут пущены в ход по приказу Комитета. Банки, конторы и магазины откроются по распоряжению. Все будет сделано для обеспечения города продовольствием. Нарушители революционного порядка — грабители, погромщики, мародеры, торговцы спиртом — будут судимы беспощадным судом.

Товарищи и граждане!

Весь мир переживает колоссальный кризис. Война, вызванная капитализмом, привела к глубокому потрясению, всколыхнув рабочие массы во всех странах. Повсюду нарастает революция пролетариата. И русскому рабочему классу выпала великая честь первому низвергнуть господство буржуазии. Впервые в человеческой истории трудящиеся классы взяли власть в свои руки, своею кровью завоевав свободу. Эту свободу они не выпустят из своих рук. Вооруженный народ стоит на страже революции.

Слава павшим в великой борьбе.
Да будет их дело — делом
живущих.

Военно-революционный комитет Сов. Раб.
и Солд. Депутатов».

Людвинская перечитала «Манифест». Пожалуй, лучше передать всю пачку незаменимому Петрухину, тот с босоногой командой расклеит их по Марьиной роще.

Неожиданно зазвонил телефон. Людвинская от удивления не сразу разобрала, о чем просили там, на дальнем конце провода. Трубка, по обыкновению, грохотала, дребезжала и, вздохнув, умолкла. Звонили из Военно-революционного комитета, требовали прислать рабочие отряды.

Людвинская отчетливо представила Театральную площадь, на скверике которой она любила отдыхать в яблоневый цвет. А теперь она засыпана осколками зеркальных окон магазина Мюра и Мериллиза. В Кремле, черным предательством захваченном, юнкера. К Красной площади стягивались рабочие отряды на штурм Кремля. Из окон Малого театра, захлебываясь, строчили пулеметы. Малый театр белые превратили в один из фор-

постов на подступах к Кремлю. Малый театр горел. В окнах тупорылые пулеметы, ножки золоченых кресел с трудом удерживали мешки с песком. В «Метрополе», задавленном столами и диванчиками, были баррикады. Зеркала в объятиях полногрудых нимф зияли пулевыми ранами. Бои велись в запутанных коридорах, на парадных лестницах, в номерах, где двери были задвинуты мраморными умывальниками.

Людвинская постояла у окна, послушала. По Кремлю била артиллерия. Полковник Рябцев черным обманом захватил Кремль. Он приказал открыть Боровицкие ворота и впустить юнкеров. И объявил, что Москва находится в его руках! У памятника Александру II юнкера расстреляли из пулеметов солдат, перешедших на сторону революции.

Это было гнусное предательство! В тот день остановились фабрики и заводы. Москва покрылась окопами, баррикадами и проволочными заграждениями.

Пятый день идут в Москве бои. Людвинская похудела до черноты, глаза ввалились, стали бездонными. Голос стал хриплый. Парижское пальто заменила на кожанку, шляпу на шерстяной платок. Кожанка болталась на ее худых и острых плечах, карман оттопыривал браунинг. В черных волосах появилась густая седина, и седины с каждым днем становилось все больше.

От Александровского вокзала напирали юнкера. Юнкера удерживали и Никитские ворота, один из опорных пунктов на подступах к Кремлю. Захватили аптеку, взяли под контроль Арбат и Никитскую. Из Сущевско-Марьинского района ушел отряд помочь выбить белых из аптеки. Это был приказ Военно-революционного комитета.

Людвинская бывала в этой аптеке, разве могла она представить, что двухэтажное здание с ажурной железной дверью станет ареной такой битвы!

— Где? Где запропастился отряд? — кричали из гостиницы «Дрезден». Вот когда заработал проклятый телефон!

Татьяна Федоровна растерянно опустила телефонную трубку. Она и сама волновалась. Отряд — не иголка и не мог потеряться. Значит, пробирался с боями к Никитским воротам. С отрядом ушла и связная Полина Селезнева, с Военно-артиллерийского завода, что на Лесной. Скромная и хорошая девушка. Одели ее для камуфляжа гим-

назисткой. В длинное пальто с пелериной и меховым воротничком. Муфта болталась на шнурке. Капор из белки оттенял глаза в пушистых ресницах. Девушка смущалась своего наряда, но Людвинская настояла — так легче пробираться через Бульварное кольцо.

— Поля-то, как благородная! — заметил Петрухин не без удовольствия.— Ой, ой, Татьяна Федоровна, да куда же я в такой робе!

Петрухин растопырил пальцы, придерживая несуществующие края робы, и закружился, передразнивая девушку. И странное дело, в этом громоздком и неловком парне Людвинская сразу узнала и жесты, и мимику, и голос Полины Селезневой. Петрухин стал словно меньше ростом, лицо округлилось, губы сложил бантиком.

— А дальше-то что? — хохотали вокруг рабочие.— Дальше шпарь, Петрухин!

— Ничего... Ничего... Еще раскаленным гвоздем кудри себе завей! — заговорил Петрухин голосом Людвинской. Он подобрался, стал выше ростом, лицо вытянулось, волосы расчесал на прямой пробор, а в голосе послышались жестковатые нотки.— Было время, я под парик косы прятала, а ты переодеться по-настоящему не хочешь! В подполье нет мелочей! Тебе дают партийное поручение.

Петрухин скосил глаза, стараясь понять, какое это произведет впечатление на Людвинскую. «Ну и ну,— дивилась Татьяна Федоровна, стараясь разобрать сквозь громкий смех слова Петрухина.— Актер, настоящий актер. Победим белых, и Петрухина определим в театр. Непременно, парень-то каких способностей! Только почему мне такой старческий голос придумал? Неужто я так постарела?»

Где же Полина Селезнева? По инструкции девушка должна была вернуться с донесением. А если ее убили? Нет, такое не могло случиться. Она отогнала от себя эту мысль и нервно передернула плечами. Скорее всего, она не прошла через Страстную площадь. Там баррикады, сильный обстрел. Но девушка не из трусливых! Значит?.. Нет, этому она не могла поверить и ждала, ждала...

Полина Селезнева вернулась, когда Людвинская потеряла всякую надежду. От усталости едва держалась на ногах. Боже, в каком виде! Без капора. Правая бровь рассечена. На щеке кровь и большая ссадина. Пелерина разодрана, в рукаве выдран клок.

— Полюшка! Милая!.. Садись, садись... Что случилось?

Девушка провела рукой по лицу.

— Случилось? Я у Страстного монастыря прикинулась пьяной. Увидела офицера и пошла прямехонько. Лезу на рожон, и все. Офицер опустил руку. Залп. Я не остановилась: пули, мол, мне нипочем. Офицер затрясся: «Куда? Куда прешь, дурья башка?» Я помахала ему ручкой и прошла. Действительно, бог бережет пьяных да влюбленных.

— Молодец! А дальше? — Людвинская быстро подсунула Селезневой свой паек хлеба.— Ешь, голодная ведь.

— Хлеб? — удивилась Полина и потупила глаза, боясь выдать себя.— А как же вы, Татьяна Федоровна?

— Не беспокойся, я тут без хлеба не сижу,— солгала Татьяна Федоровна. Все дни она жила на одном кипятке: привычку-то вынесла из тюрьмы.

— Это правда? — Поля принялась за хлеб, запивая его водой.— У Никитских ворот юнкера нашим устроили ловушку. Аптеку в арсенал превратили — забили пулеметами, окружили баррикадами. Наши бросились на штурм, юнкера полоснули огнем! Ой, что было! К юнкерам на помощь подоспела школа прапорщиков.

— Значит, аптеку так и не взяли?

— Взяли, Татьяна Федоровна, а удержать не смогли. Прапоры хорошо вооружены, кадровые... А наши? На винтовку по десятку патронов.— Селезнева старательно подобрала крошки со стола.— Отряд-то я довела, только с донесением решила не спешить. Бой, пули свистят, раненых много, хотели санитарам подсобить.

— Это ты правильно решила,— согласилась Людвинская, понимая, как трудно уйти и оставить товарищей в беде.

— Наши укрылись в доме, что напротив аптеки, такой пятиэтажный. К нему Тверской бульвар примыкает, там еще газончики. Юнкера подтянули артиллерию и своротили угол у дома. В доме начался пожар...— Селезнева говорила размеренно и слова подбирала точные.— На втором этаже много раненых. Если юнкера захватят дом, то они их пристрелят...

— Пристрелят раненых? Что ты болтать-то вздумала?! — Людвинская быстро завязывала платок.— Пристрелят? Там же красногвардейцы!

— Их очень немного, они едва держатся.

— Сколько они продержатся? — уточнила Людвинская, подзывая Петрухина и глазами показывая на записи на столе.— Сколько?

— Думаю, не более двух часов.

Людвинская решительно захлопнула за собой дверь.

НИКИТСКИЕ ВОРОТА

Пожалуй, это был самый трудный день в ее жизни. Добраться до Никитских ворот по Москве, напоминавшей развороченный муравейник, оказалось не просто: обстрелы, баррикады, обходы, свистящие пули. Стрелял каждый дом, в каждом парадном была засада, на каждом чердаке — пулемет.

На Малой Дмитровке от Купеческого клуба, зеленого здания с большими окнами, до церкви Рождества Богородицы, белой, резной, словно игрушка, вытянулась баррикада. Опрокинутый трамвай, вывороченные уличные фонари и обгоревшие бревна, заваленные мешками с песком. Рядом с мешком — детская коляска, у которой от ветра крутились колеса. В крутящихся колесах была та же беспомощность, что и у красавицы церкви, плетенной из кружев.

Людвинская двинулась в обход, прижимаясь к домам, окна которых слепили ставни. Страстной монастырь сиял золотыми куполами. Оставалось перебежать площадь и Тверским бульваром прямехонько к Никитским воротам. Рядом с Людвинской шла женщина с кошелкой, случайная попутчица. Она что-то пыталась говорить, но в грохоте Людвинская не разбирала ее слов. Видела только ямочки на румяных щеках и двойной подбородок. Женщина перекрестилась, глядя на Страстной монастырь и бросилась бежать к угловому двухэтажному дому. Но тут забил пулемет с колокольни монастыря. Пули со свистом прыгали по булыжнику. Женщина схватилась за бок, приседая, повернулась к Людвинской. На лице ее застыла виноватая улыбка. Вот тебе и святая церковь!

Татьяна Федоровна добралась до Тверского бульвара. Короткими перебежками, прячась в парадных. У памятника Пушкину перевела дух и замерла.

Тверской бульвар был безлюден. Изредка в окнах мелькали тени да испуганно хлопали ставни.

Людвинская торопилась. Хрустел под ногами слежавшийся лист, прибитый ветром и снегом. Ухала артиллерия. По звуку определила: на Ходынском поле. Значит, белые очищают подходы к Кремлю. Скорее...

Около особняка Рябушинского, миллионера, из тех, кто грозился костлявой рукой голода задушить революционную Россию, остановилась. Дом из серого камня, как крепость. Высокое крыльцо охраняли застывшие гарпии. Она и сама прижалась к особняку, словно и ее могли защитить эти чудовища.

Горел дом, примыкающий к Тверскому бульвару, тот самый, о котором говорила Полина Селезнева. Пламя лизало колонны, обтекало балкончики и рваными космами устремлялось в вышину. С угла дома, обращенного к Малой Бронной, сорвало крышу, и там огонь, подхваченный ветром, закрывал окна, плясал длинными языками и окутывал плотным дымом нижние этажи. А вот и аптека с выбитыми окнами и развороченными дверьми. Болталась на ветру вывеска с красным крестом да лежал вывороченный фонарный столб. Пролетел артиллерийский снаряд, взметая мерзлую землю.

Людвинская перебежала и укрылась в доме. Прислонилась к перилам лестницы и пыталась разглядеть, что делается на площади. В парадном ветер разгуливал хозяином, было холодно. Дверь, очевидно, кто-то снял для баррикады, битые стекла блестели на снегу.

— Господи, матушка-заступница, покарай виновных и спаси безвинных... Что творится на белом свете? — последний вопрос был адресован уже к Людвинской.

Татьяна Федоровна подняла голову. На лестничной площадке стояла старушка, сухонькая и сморщенная. Дверь в квартиру была приоткрыта, за хозяйкой вылез и кот. Облезлый, худущий.

— Ховайтесь, гражданочка... Ховайтесь! Времечко такое лютое.— Старушка мелко крестилась и приглашала в квартиру.— Забыли бога люди... Ох, грехи наши тяжкие!

— В доме напротив есть раненые.— Людвинская указала в сторону Тверского бульвара.— Есть у вас какие-нибудь простыни? Я бы отнесла их раненым. Нужно помочь людям...

— Вас убьют! Здесь, у окна, и то страшно стоять.— Старушка перекрестилась и с любопытством уставилась на Людвинскую. Подумав, вздохнула: — Простыни-то

есть, на смерть себе берегла... Кто теперь о смерти думает, она и так в каждом дому... Кипяточка хотите?

— Давайте.— Людвинская благодарно кивнула. Старушка ей нравилась.

И все же как пробраться в горящий дом? Парламентером! Именно парламентером! Старушка провела к черному ходу, грязному, полуразрушенному. Он вел к церкви Большого Вознесения. В зеленом круглом куполе пробоины от артиллерийских снарядов. В этой церкви венчался Пушкин со своей невестой Натальей Гончаровой, а теперь по ней бьют снаряды.

За церковной оградой прямо на снегу лежали девушки-санитарки. Белели сумки с красными крестами. Ба, это ее девушки! Они подняли головы от земли, прислушиваясь.

— Сюда, сюда! — Людвинская скатилась с лестницы.

Девушки кинулись к Людвинской. Они тяжело дышали и, перебивая друг друга, что-то говорили, быстро и путано:

— Наши в том доме... Всего-то двадцать шагов, но как попасть туда? Беляки не дают головы поднять...

— Нужно взять белый флаг и пройти парламентером,— предложила Людвинская с удивительным спокойствием.— Парламентер, сестра милосердия, потребует прекращения огня на два часа для оказания помощи раненым. Так записано во всех мировых конвенциях.

— Кто пойдет! — У старшей, Веры, от волнения дрожали губы.— Белые озверели...

— Я... Я... одна... Как самая опытная...

— Татьяна Федоровна, вас расстреляют сразу же! — взмолилась Вера. Она ждала поддержки от подруг — Почему молчите?

— Возможно...— согласилась Людвинская.— Но выхода другого нет... Возможно...

— У меня такое чувство, что офицерье упивается своей властью... Мы, поди, добрых три часа отсиживаемся, а они все стреляют и стреляют!

Людвинская молчала. Развороченный снарядом дом, дым пожарища, разъедавший глаза, стена осажденного дома, изрешеченная пулями, лестница с выбитыми стеклами, девушки, бледные от смертельной опасности..

— Да, выхода иного нет.— И она жестко приказала:— Ждите меня в парадном... Подойдите, когда взмахну белым флагом. Только в этом случае! Все остальное запрещаю, понимаете? Запрещаю!

И она шагнула на площадь. Ветер зло набросился на белый флаг с красным крестом, который она держала в руках. Рвал его, пригибал к земле. Она подняла флаг над головой и, не отрывая глаз, смотрела на аптеку. Шла быстро, легко. И сразу же засвистели пули, выбивая из булыжника каменные брызги. Она прибавила шаг. Вот и баррикада у аптеки. Рельсы, столбы, проволока. Она миновала эти роковые двадцать метров. Бешено стучало сердце, кровь приливала к вискам, опаляя жаром и вызывая липкую противную дрожь. Расстегнула воротник пальто, широко вздохнула. Она ни о чем не жалела, не вслушивалась в свист пуль. И вдруг ее окружила тишина, казавшаяся оглушительной и пугающей. Верно, и белые заинтересовались, зачем появилась под свист пуль эта высокая и худая женщина.

— Прекратите огонь! Пре-кра-ти-те! — Людвинская размахивала флагом.— И у нас, и у вас есть раненые. Они нуждаются в помощи! Я как сестра милосердия требую прекратить огонь на два часа для оказания им помощи. Мы должны вынести раненых.— Тишина попрежнему было зловещей. И она почувствовала, как пересохло горло, как слова обдирали, жгли его.— Можете в нас, сестер милосердия, стрелять, но это будет варварством. У каждого из вас есть жены, сестры, матери, и они, как и мы, обязаны выполнить свой человеческий долг! Нас здесь пятеро, и мы войдем в дом, потому что там истекают кровью солдаты.— Людвинская поднялась на цыпочки и, боясь, что ее не услышат, прокричала: — Ра-не-ные! Нельзя назвать человеком того, кто поднимет руку на сестру милосердия. Это не солдат, не гражданин! Мы без оружия, обыскивайте нас! — Голос Людвинской задрожал от гнева и боли.— Я сейчас позову из парадного моих подруг, сестер милосердия, они несколько часов не могут оказать помощи раненым. Стреляйте в женщин, если среди вас есть негодяи...

Из парадного вышли девушки. Бледные, суровые. Они направились в центр площади, где стояла Людвинская. Девушки шли, не пригибались, но и не надеялись на чудо. Они были уверены, что вот-вот раздастся залп. И это ожидание неизбежности рождало силу. Они шли на смерть, потому что среди полыхавшего огня их ждала безоружная Людвинская, потому что погибали их раненые товарищи. Надо было идти, и они шли...

И только теперь, когда девушки были совсем рядом, Людвинская испугалась. Любая шальная пуля могла принести смерть. Она взмахнула флагом и прокричала:

— Мы — ваши сестры и жены... Не стреляйте... Мы выполним свой долг совести!

Аптека молчала. Людвинская бросилась к дому на Тверском бульваре. В парадном торопливо расчищали проход красногвардейцы. Двери оказались забаррикадированными, и она с трудом пробиралась через мешки с песком и сломанную мебель. Дом готовился к длительной обороне. Волков, командир отряда, встретил ее упреками:

— Татьяна Федоровна, не дело задумала.— Он обтер рукавом почерневшее от копоти лицо.— Не следовало... С этими сволочами ни о чем не договоришься. А вы еще с речугой под пули... А потом эти малявки прибежали... Сумасшествие какое-то... Буду жаловаться Землячке в Московский комитет!

Татьяна Федоровна благодарно обняла Волкова, похлопала по плечу.

В подвале на соломе лежали раненые. Их успели перенести со второго этажа в более безопасное место. Тускло светили керосиновые лампы, распространяя удушливый запах. Вера присела около раненого, лежавшего на соломе, принялась за перевязку. Парень морщился от боли, но балагурил. С верхнего этажа спускались красногвардейцы. Жадно набрасывались на ведро с водой, пили мелкими глотками, с удовольствием. В углу валялись пустые ящики из-под патронов. Значит, в этом горящем доме и патроны кончились...

— Товарищи, время дорого! Перевязки потом... Выносить раненых будем с оружием. Дом нужно сдавать, вы дрались геройски, но патронов больше нет, да и пожара не погасить. Скоро подтянем двинцев, тогда и выбьем беляков. Волков, почему медлишь?

Командир молчал. В воспаленных глазах усталость и боль. Ответил хрипло:

— Нам здесь крышка — юнкера не выпустят. Хорошо, если раненых спасете. Юнкера штыками их добьют... Мы будем отстреливаться до последнего патрона и дорого продадим свою жизнь... Так, братва?

Людвинская видела на лице Волкова и его товарищей ту смертельную усталость, за которой уже не стоит страх. Они радовались за раненых, хотя до конца не верили в их

спасение, тревожились за женщин, так неожиданно вошедших в их жизнь. И как это было ни странно, но женщины мешали им в эти последние часы схватки, ибо были той ниточкой, которая их связывала с жизнью, рождала в душе надежду и вселяла чувство неуверенности. А что будет с ними?

— Командир Волков, прикажите, чтобы красногвардейцы подтаскивали носилки с ранеными к выходу. Девушкам нужно помочь. С Малой Бронной раненых отправят в госпиталь, в Купеческий клуб.— Людвинская говорила резко, стараясь вывести красногвардейцев из оцепенения, которое наступило после нечеловеческого напряжения.— Куда без оружия? — Глаза ее зорко следили за каждыми носилками.— Обязательно кладите оружие... Борьба только начинается.

— Оружие... Оружие! — покрикивал и Волков, укрывая винтовку полушубком.

Красногвардейцы поднимали носилки и шли к выходу. Первыми показались на площади с носилками Вера и Наташа. Стучали по белевшему снегу сапоги. Носилки тащили с трудом, стараясь не смотреть в сторону аптеки, притихшую, словно змеиное гнездо. Людвинская, проваливаясь в сугробы, опередила носилки и подняла белый флаг. Стала лицом к аптеке, всматриваясь в глухую баррикаду. Она видела, как Волков выкатил пулемет к ступеням подъезда и взял беляков на прицел. Скуластое лицо его побледнело до синевы. Теперь другие две девушки сгибались под тяжестью носилок, те провисали — раненый был не из легких. И опять взметнулся белый флаг в руках Людвинской. Минуты шли, эвакуация приближалась к концу, баррикада молчала. Она точно вросла в морозную землю, стояла, не выпуская белого флага.

Уже не один раз девушки с носилками возвращались в горящий дом. Юнкера не нарушали перемирия. Острые глаза Людвинской подметили, что и у беляков на баррикаде началось какое-то движение — санитары убирали убитых, возились около раненых.

Она снова шагнула в подъезд. Девушки стояли в проходе, зажатом мешками с песком и железными кроватями. В доме остались лишь легкораненые. Красногвардейцы курили, виновато посматривали на товарищей.

— Татьяна Федоровна, мы решили не эвакуироваться,— поплевал на цигарку солдат со шрамом на щеке.—

Винтовку держать можем... Как дружков оставить? Совесть-то...

— Максимыч, я тебя сама потащу.— Людвинская знала этого солдата и старалась все обратить в шутку.— Время есть, дом все равно не удержать, пожар перекинется в нижние этажи, и юнкера будут вас, выкуренных дымом, брать по одному на мушку. Революция только начинается, и не большое геройство так умереть!

Красногвардейцы молчали. Конечно, положение безнадежное и Людвинская права, но отступление всегда дело постыдное.

— Татьяна Федоровна, тяжелораненых всех вынесли.— Вера развернула носилки и недоуменно уставилась на парня в полушубке.— Нам здесь оставаться? Раненые-то...

— Товарищи, время истекает... Быстро на носилки...— Людвинская торопила, боясь ненужных вопросов.— Теперь под видом раненых будем выносить красногвардейцев. С оружием!

— Давай, Ванюша,— просительно обратилась Вера к парню в полушубке и неуверенно прибавила: — Правда, здоров ты как черт!

Последним выносили из дома командира Волкова. Командир с неохотой и смешком, которым прикрывал волнение, сам подтащил носилки к двери. Огляделся по сторонам, словно прощаясь с домом, и улегся на носилки. Дым застилал глаза. Голоса раздавались глухо, в доме поселилось эхо.

До конца перемирия оставалось десять минут. Людвинская повернулась к баррикаде, ветер трепал белый флаг.

НОВЫЙ ДЕНЬ

Как-то во Франции в эмигрантском кафе, куда вечерами собирались русские, спорили о революции. Спорили жарко, страстно и всё о победе. Все дальнейшее казалось светлым и ясным. Только Владимир Ильич Ленин, присутствовавший при этих разговорах, становился озабоченным и задумчивым. В те далекие дни она не понимала его задумчивости и всякую осторожность в суждениях не могла оправдать. Теперь навалились такие трудности, от которых зависела судьба революции, и как часто она вспоминала парижское кафе и лицо Ильича.

Людвинская сидела в садике церкви святого Пимена на Селезневке.

Церковь не пострадала от артиллерийских обстрелов. В этот сумрачный день она была полна довоенного покоя и благополучия: сверкали золотые купола, искрились медные колокола с длинными языками, прижатыми веревками. По крыше расхаживали нахохлившиеся голуби. Церковные врата были широко раскрыты. Народу мало. На сквозном ветре сидели калеки и убогие и канючили милостыню.

Людвинская похудела за эти ноябрьские дни. Глаза казались непомерно большими, резко выделялись на бледном лице. В Москве голод! Пайки крошечные, а сегодня на заседании Сущевско-Марьинского Совета по ее предложению их уменьшили до ста граммов — четверть фунта хлеба в день! Запасы муки были невероятно малые, а тут спекулянты.

Она прижалась спиной к дереву. От голода кружилась голова. За тем, чтобы она ела, с недавних пор следил Петрухин. Как-то не без ехидства сказал: «Вы бы хоть раз в неделю кулеш похлебали, а то как в крепости — на хлебе и воде. Словно в карцер сами себя поместили. Так недолго и до темного карцера...» Она рассмеялась, а Петрухин выпалил: «С нонешнего дня буду кормить сам, а то до мировой революции не дотянете!» Конечно, питаться она стала регулярнее, но чуда не произошло — все та же четвертушка хлеба и кипяток. Хлебные лабазы и в Марьиной роще и на Сухаревке оказались пустыми. Она и сама ходила в ночные облавы на спекулянтов, но пока все безрезультатно.

Петрухин бесшумно опустился на лавочку. Она вздрогнула и по его расстроенному лицу поняла, что очередной обыск результата не дал.

— Татьяна Федоровна, махнем еще разок на Сухаревку.— Петрухин сворачивал козью ножку. Закурить не решался, знал — Людвинская не переносила дыма.— Там есть купец Пузанков... В свое время имел торговлю хлебом. Сейчас гол как сокол, да мне что-то не верится. Прощупать бы его хорошенько? А?

На Сухаревке творилось нечто несусветное: орды беспризорных, облепивших, как мухи, котлы для варки асфальта, полупьяные молодчики с завитыми чубами, голодные крысы, переставшие бояться людей, чавкающая грязь,

в которой разъезжались ноги. Все кричало, стонало, толкалось, суетилось. Появление рабочего отряда вызвало панику. Пустились наутек беспризорники, сверкая голыми пятками. Подхватывали лотки с леденцами старухи. Скулили отощавшие собаки с запавшими боками. Волновалась чистая публика, прижимая к груди лампы и подсвечники.

Купец Пузанков оказался злым и худым как жердь. Он скрестил длинные руки на груди и замер, привалившись к косяку лабаза. Замок болтался в ушке, тяжелый, смазанный маслом. Дверь, кованная железом, приоткрыта. В лабазе шаром покати. Пусто, все выбрано под метлу. Но Петрухин не сдавался. Медленно походил по лабазу, заглядывая в углы.

— Открывай люки! — неожиданно обратился он к купцу.— Что ты мне тычешь в нос пустые закрома с крысами...

Петрухин зажег свечу, хотя было еще светло, и направился к люкам, ведущим в подвал. Ба, значит, здесь и подвалы! Робкий свет выхватывал крыс с хищными глазами, длиннохвостых. Под ногами хлюпала грязь.

Люки были припорошены соломой и залеплены грязью. Людвинская не сразу их разглядела. Петрухин потрогал замки, разгребая грязь руками. Купец отошел к двери. Глаза его забегали, стали колючими, как у крыс.

— Именем революции открывай подвалы! — Петрухин щелкнул затвором винтовки.— Знаю, что там хлеб припрятал, бандюга! Свидетели есть...

Упоминание о свидетелях вывело купца из оцепенения.

— Что за свидетели такие?

— Опосля узнаешь, спекулянт! — Петрухин откуда-то раздобыл керосиновый фонарь и направил столб света на купца.

— Действуйте, товарищи! — Людвинская перехватила взгляд Петрухина.— Именем революции...

Петрухин поплевал на руки, поднатужился и начал ломом вскрывать замок. Ему помогал Волков, тот самый командир красногвардейцев на Никитской. Бравого командира не узнать — у него несколько дней назад умерла дочь. Умерла от голода. Волков все дни курил да смахивал тыльной стороной ладони слезы. Замок заскрипел и, лязгнув стальной челюстью, отвалился. Пахнуло затхлостью, показалась гнилая солома с белой плесенью. Петрухин

спрыгнул в подпол, но, против ожидания, не провалился, более того, стоял на чем-то твердом и пружинил ногами. Волков понимающе крякнул и подтолкнул вперед купца. Петрухин быстро выкидывал солому, полусгнившие доски и вдруг закричал:

— Волков, свети! Тут мешки... Мешки под брезентом!

— Антихристы... Богом проклятые...— зло и бессильно шептал купец.— Дорылись, собаки... Обокрали на старости лет... Обокрали...

— Прикуси язык! — прикрикнул Волков. Он размахнулся, но не ударил, только скривился, как от боли.— Тут детишки мрут, а ты муку гноишь... Сволочь...

Людвинская не останавливала Волкова, она и сама готова была избить купца. Хлеб гноить в такое время...

— Мое... мое... Кровью и потом заработал! Без денег не отдам! — Купец размазывал грязные слезы.— Какие у тебя свидетели, подлюга? Выкладывай...

Петрухин подмигнул Людвинской и прогремел над самым ухом купца:

— Свидетель — пролетарская совесть!

Купец был страшен: он трясся и грозил сухоньким кулачком. Петрухин вытаскивал из подвала мешки и даже на купца посматривал без прежней ярости. Хлеб нашли, хлеб!

Подошла подвода, погрузили мешки. С осторожностью, как великую ценность. Хрипло плакал купец, он обмяк и едва не падал от горя. Волков посадил его на ступеньки и нахлобучил на голову картуз. Хотел что-то сказать, но, махнув рукой, закурил.

— Как же ты узнал, что в подвале хлеб? — Людвинская светилась от счастья.

— А по крысам, Татьяна Федоровна.— Петрухин тоже был доволен.— Крысы ушли бы от пустых подвалов. Они учуяли съестное. И, как в сказке, кота растерзали. Вы не приметили дохлого кота в углу?

— Ай да Петрухин! — Людвинская с уважением посмотрела на парня.— Теперь тебя буду брать на все облавы. Купец Пузанков — мелкий человек! Хочешь, я тебе историю расскажу?

Они брели по ночным улицам Москвы. Неторопливо трусила лошаденка, скрипела подвода под тяжестью мешков. Волков сидел на подводе и понукал лошаденку. Людвинская и Петрухин шли следом, боясь в темноте потерять

подводу. Фонари не светили. Лишь звезды скупо заливали голубым светом уснувшие улицы.

— Конечно, Татьяна Федоровна! — повеселел Петрухин.

— Как-то до революции я сидела в Крестах, так в Петербурге тюрьму называли.— Людвинская перекинула винтовку через плечо и улыбнулась в темноту: вот и появились люди, которые не знают, что такое Кресты.— Вывели меня воскресным днем на свидание в большую приемную. По одну сторону мы, арестованные, к которым пустили родственников и тех, кто сумел доказать, что он таковым является, а по другую...

— Интересно, человек должен доказать свое родство.— Петрухин шагал неторопливо, во всем разбирался обстоятельно.

— Ты молодой, в царских тюрьмах не сиживал, а порядок был строгий — на свидание только родственников! Конечно, документы в участках не всегда проверяли. Родственники. Какие родственники в чужом городе! Вот и придумывали в подполье, кем назваться: то невестой, то женихом, то двоюродной сестрой... Иной раз выведут в свиданную, а ты стоишь, как засватанная, ждешь, и тут какая-нибудь девица кидается тебе на шею, коли решетки нет. И вот вывели меня в Крестах. Посетителей много, я стою и жду. Рядом напарница по камере, вздорная старуха. Арестовали ее за драку на базаре, то ли она городового ударила, то ли ее кто избил. Бабка бойкая. В камере всем уши прожужжала своими глупостями. С головы от волнения слетел платок, а косички, тонкие, как мышиные хвостики, она завязала бантиком. Навестить ее явилась тоже старуха, неприятная, с ввалившимся ртом. Я невольно слышала их разговор. Кузьминична боялась за курицу, оставленную без присмотра, и давала приятельнице наставления. Голос у нее грудной, трубный: «День корми пеструшку шелухой, а день — хлебными корочками». Старуха с ввалившимся ртом, видно, придерживалась другого мнения. Она поджимала губы и осуждающе качала головой. Напарница моя настаивала и клялась за такую услугу век ее не забыть. Я плохо помню беседу с товарищем, пришедшим ко мне на свидание, потому что рядом тарахтела о курице распроклятая бабка.— Людвинская смеялась, хотя минул уже добрый десяток лет.— Окончательно убила меня не моя напарница, а ее

подружка. Она, словно сорока, выплевывала новости о соседях: у той деньги украли, у той сарай сгорел.

— Вот и встретились старые хрычовки! — развеселился и Петрухин, придерживая мешок на подводе.— Это в тюрьме-то...

— В тот день я долго не спала, думала: почему люди попусту жизнь растрачивают?

Ветер пробирал до костей. Людвинская поглубже засунула руки в карманы кожаной куртки. На ногах сапоги, правда худые. Плохо, ноги мокрые, как бы легкие опять не застудить. Ветер гнал тучи. Звезды угасли. Лишь на востоке светился тонкий серп луны.

«Хорошо, что раздобыли хлеб. Вот скоро доберусь до Марьиной рощи, там у «буржуйки» и ноги можно обогреть, и кипятка напиться, паек хлеба раздобыть и поспать немного,— мечтала Татьяна Федоровна, с трудом вытаскивая ноги из липкой грязи.— Поспать надо обязательно, а то на ходу упаду. Облавы почти каждую ночь...»

Спать... спать... спать... Мысли стали путаться, в темноте виделась Швейцария с голубыми озерами, усатый таможенник кричал над ухом, схватил за рукав и начал трясти.

— Татьяна Федоровна! — в голосе Петрухина тревога.— С чердака стреляют... Да проснитесь же вы, наконец!

Действительно, с чердака бил пулемет. Пули отскакивали от булыжника. Испуганно шарахнулась лошадь, громко чертыхался Волков. И лишь дома застыли в безмолвии. Людвинская почувствовала, как она замерзла. Ее охватил озноб, до костей, до спазм, до боли в сердце. Она стряхнула оцепенение и, пробуждаясь от дремы, хрипло приказала:

— Оружие к бою! Волков, подводы не оставлять! За мной!

Быстрым движением сняла винтовку, бросилась в подворотню глухого и немого дома.

И опять по ночной Москве идет Людвинская. Потуже затянула пояс на кожанке и наклонила голову, спасаясь от холодного ветра. Петрухин, подняв воротник пальто, поеживается, идет рядом.

На востоке занималась заря. Алой полосой залила полнеба, поглотила угрюмую черноту уходящей ночи. Начинался новый день...

СОДЕРЖАНИЕ

ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Вера Александровна Морозова

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО

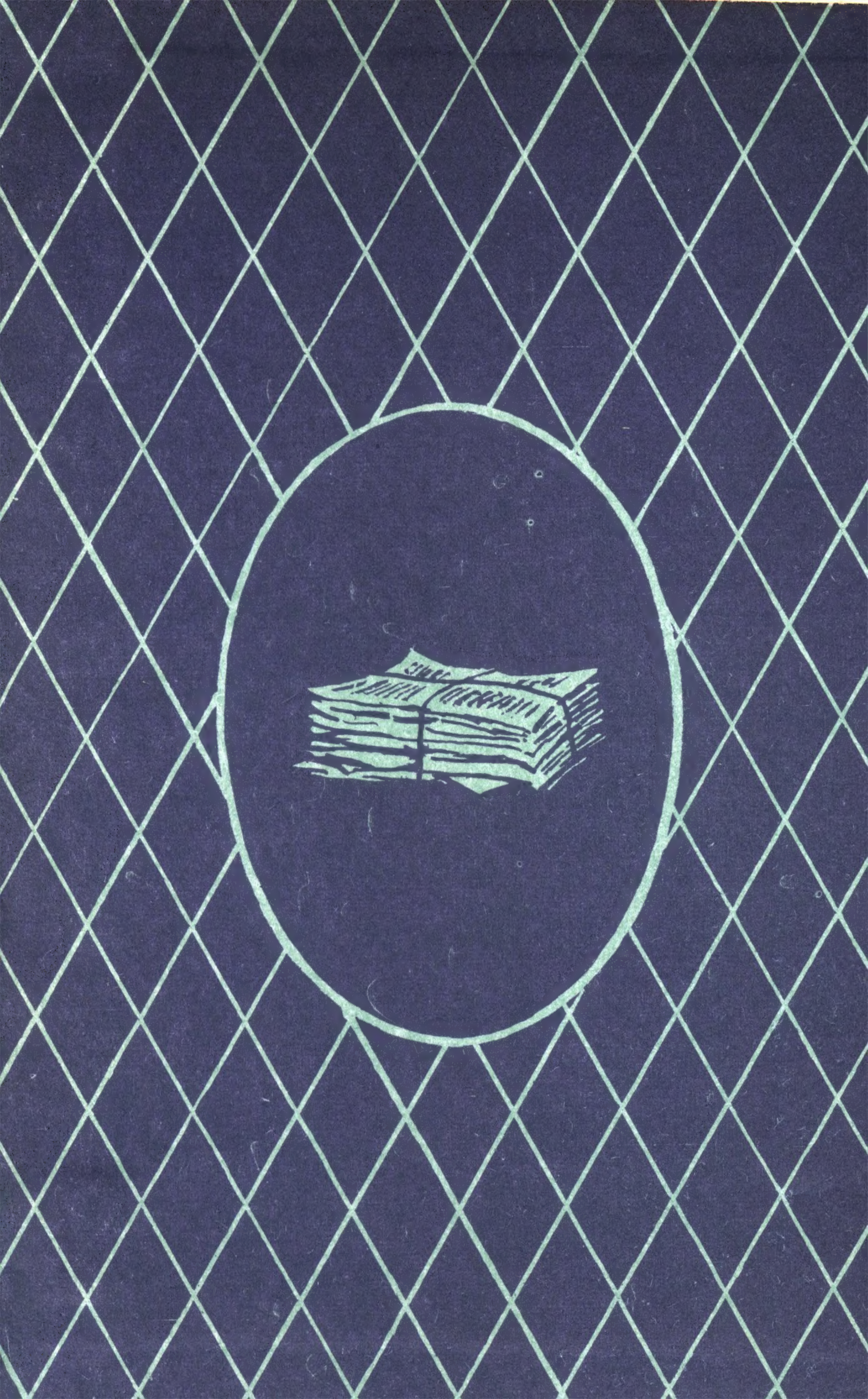
Рассказы

ИБ № 2584

Ответственный редактор **Г. А. Дубровская.** Художественный редактор **Л. Д. Бирюков.** Технический редактор **Г. Г. Седова.** Корректоры **Г. С. Муковозова** и **Т. Н. Чернова.** Сдано в набор 20.03.80. Подписано к печати 01.08.80. Формат $84 \times 108^{1}/_{32}$ Бум. типогр. № 1. Шрифт литературный. Печать высокая. Усл. печ. л. 11,76. Уч.-изд. л. 12,49. Тираж 75 000 экз. А09700. Заказ № 1269. Цена 55 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»





55 коп.


ВЕРА МОРОЗОВА
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО